Пушкин
и
ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

В. ГЛИНКА

Пушкин и ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Лениздат · 1988

ББК 63.3(0)52
Г54

Рецензент — кандидат филологических наук
И. С. ЧИСТОВА

Г $\frac{1905040000—009}{М171(03)—88}$ 115—88

Историк и писатель Владислав Михайлович Глинка, один из лучших знатоков жизни и быта России XIX века, долгие годы работал в Государственном Эрмитаже. Про В. М. Глинку среди музейщиков рассказывали легенды. Говорили, что на старых черно-белых фотографиях он легко распознает цвета, в съемочной группе «Войны и мира» (Глинка консультировал съемки) утверждали, что он знает на память скрип рессор и колес всех типов старых экипажей, а знатокам портретной живописи известно, что методикой определения неизвестных лиц на старых портретах, разработанной В. М. Глинкой,— когда по отрывочным и косвенным признакам путем сопоставления удается определить, казалось бы, безвозвратно утерянные имена портретируемых — сейчас сплошь и рядом пользуются музейные работники более молодых поколений.

В. М. Глинка написал несколько искусствоведческих и научно-популярных книг, а также целый ряд исторических повестей и романов, являющихся примером глубинного психологического осмысления того архивного и музейного материала, которым писатель занимался всю свою жизнь.

Художественная проза В. М. Глинки обычно брала свое начало именно в архивах, и потому центральны-

ми фигурами его романов часто становились реально существовавшие люди. Так, роман-дилогия о Сергее Непейцыне посвящена действительно жившему в конце XVIII — начале XIX века офицеру, потерявшему под Очаковом ногу. Знаменитый Кулибин изготовил для него первый в мире протез, и в 1812 году, через двадцать лет, Сергей Непейцын продолжает служить, да еще где — в кавалерии!

Реально жившим человеком был и унтер Иванов, герой другого романа В. М. Глинки. Крепостной крестьянин, рекрут, кирасир, а затем гренадер-ветеран, всю жизнь прослуживший в нижних чинах, Александр Иванов находит в себе мужество и постоянство побочным мелким ремеслом накопить сумму, потребную на выкуп из крепостной неволи двенадцати своих родственников. Толчком к тому, чтобы заинтересоваться судьбой Александра Иванова, была найденная в архиве записка о том, что гренадер сгорел при пожаре Зимнего дворца, едва успев исполнить эту подвижническую задачу своей жизни.

Работе В. М. Глинки в архивах обязана своим появлением и та книга, которую вы держите в руках. Из всех тем, которыми он занимался (а их было много: суворовские походы, 1812 год, аракчеевские военные поселения, солдатский быт времен Александра I и Николая I, декабристы), главной темой писателя-историка остается Отечественная война 1812 года. К ней, как к средоточию всего наиболее привлекавшего его в истории России XIX века, В. М. Глинка возвращался во все годы своего творчества. Взгляд на эту войну под тем или иным углом, прохождение тех или иных исторических лиц или вымышленных персонажей сквозь события 1812 года, влияние этой войны на русское общество — пути решения темы меняются, круг вопросов остается. Книга «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» находится в том же кругу. Историко-

патриотическая тема, столь близкая каждому из нас, здесь сплетена с другой вечной темой русской культуры XIX века — с пушкинистикой, то есть целым направлением, которое ныне включает в себя не только историю, литературу и критику, но множественные исследования в самых разных областях. Среди тем — «Пушкин и театр», «Пушкин и музыка», «Друзья Пушкина», «Пушкинский Петербург» — тема «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» занимает полноправное место, поскольку в более многословном заглавии она могла быть обозначена как целый ряд экскурсов: «Пушкин и 1812 год», «Пушкин и его южная ссылка», «Пушкин и декабристы», «Генералы-друзья и генералы-враги» и т. д.

Книга «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» вышла в свет в 1949 году в Издательстве Государственного Эрмитажа. По выходе ее известный историк академик Е. В. Тарле так писал тогдашнему директору Эрмитажа академику И. А. Орбели: «Какую прекрасную, прекрасную, прекрасную книгу Вы издали! Честь и слава автору и Вам». Возможно, что столь горячий отзыв Е. В. Тарле и объясняется счастливым сочетанием в книге вечно волнующих нас тем — военно-патриотической и пушкинской.

Взыскательный читатель, вероятно, обратит свое внимание на то, что в новом издании книги можно обнаружить некоторую диспропорцию частей — в ней явно велика первая глава. Объясняется это, однако, тем, что вслед за книгой «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» В. М. Глинка в соавторстве с А. В. Помарнацким выпустил монографию о Военной галерее, выдержавшую три издания и от издания к изданию перерабатывавшуюся. Вступительную статью к монографии писал В. М. Глинка. Наиболее интересные фрагменты этой статьи, особенно полно раскрывающие историю создания галереи, наследник В. М. Глинки,

подготовивший данное издание, счел необходимым поместить в настоящей книге — таким образом, упомянутая диспропорция не случайность. В той же мере не случайным является публикация приложения — статьи В. М. Глинки о пожаре Зимнего дворца в 1837 году.

Кроме того следа, который оставил в жизни Пушкина каждый из тех конкретных людей, кому посвящены главы книги, на жизнь великого поэта несомненно повлияли и его отношения с Зимним дворцом, как с некоей собирательной «личностью». Зимний дворец привлекал и отталкивал Пушкина, от Зимнего дворца зависела издательская судьба его произведений, в Зимнем дворце блистала Наталья Николаевна... Наконец, Зимний дворец был главным зданием «военной столицы». Интерьеры огромного дворца, сохранись они в том виде, который был у них в первой трети XIX века, могли бы стать еще одной иллюстрацией к пушкинскому Петербургу. Но страшный пожар в декабре 1837 года уничтожил эти интерьеры. Примечательно, что именно Военная галерея (откуда, правда, успели вынести все портреты) была первым из помещений, погибших в огне. Пожар дворца, случившийся в год смерти поэта, не только символически, но и вполне реально завершил страницу жизни дворца, связанную с Пушкиным.

Переиздание книги В. М. Глинки «Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца» является весьма своевременным: всего год назад мы отмечали сразу две знаменательные даты — 175-летие Бородинской битвы и 150-летие со дня смерти А. С. Пушкина. Появление книги, отдающей дань обеим этим датам,— подарок всем тем, кому дорога русская история.

Академик Б. Б. ПИОТРОВСКИЙ,
директор Государственного Эрмитажа



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВОЕННОЙ ГАЛЕРЕИ

Беспримерное мужество, героизм и стойкость проявил русский народ в борьбе с полчищами Наполеона, поработившими до своего вторжения в наше Отечество почти все народы Европы. С восхищением вспоминали подвиги русских воинов современники и потомки. Отечественную войну 1812 года воспели в прекрасных стихах Жуковский, Батюшков, Пушкин и Лермонтов. Л. Н. Толстой запечатлел ее в грандиозной эпопее «Война и мир». О ней напоминают статуи Кутузова и Барклая-де-Толли у Казанского собора, Триумфальные Нарвские ворота, воздвигнутые в честь гвардии, возвращавшейся в Отечество в 1814 году, Александровская колонна на Дворцовой площади. Среди мемориальных сооружений, созданных в память 1812 года, своеобразным памятником является Военная галерея Зимнего дворца, входящая в настоящее время в экспозицию Государственного Эрмитажа. Здесь находятся триста тридцать два портрета военачальников русской армии — участников кампаний 1812—1814 годов, начавшихся вторжением французских войск в Россию и окончившихся менее чем через два года победоносным вступлением русской армии в Париж.

Портреты написаны в 1819—1828 годах английским портретистом Джорджем Доу и его русскими помощниками — Александром Васильевичем Поляковым и Василием (Вильгельмом Августом) Александровичем Голике.

Помещение галереи было создано архитектором К. И. Росси в весьма спешном порядке, с июня по ноябрь 1826 года, на месте нескольких небольших комнат в самой середине парадной части Зимнего дворца — между Белым (позже Гербовым) и Большим тронным (Георгиевским) залами, рядом с дворцовым собором.

Торжественное открытие галереи состоялось 25 декабря 1826 года, в день, ставший со времен Отечественной войны ежегодным праздником в память изгнания полчищ Наполеона из России. На церемонии открытия помимо двора присутствовали многочисленные ветераны былых военных событий — генералы и офицеры, а также солдаты гвардейских полков, расквартированных в Петербурге и его окрестностях, награжденные медалями за участие в кампании 1812 года и за взятие Парижа. Во время церковной службы в дворцовом соборе, предшествовавшей освящению галереи, солдаты кавалерийских полков были построены в Белом зале, пехотных — в Большом тронном. Затем те и другие прошли по галерее торжественным маршем мимо портретов военачальников, под камандой которых они доблестно сражались в 1812—1814 годах.

Картина Г. Г. Чернецова запечатлела вид галереи в 1827 году. Потолок с тремя световыми фонарями был расписан по эскизам Д. Скотти, по стенам расположены пять горизонтальных рядов погрудных портретов в золоченых рамах, разделенных колоннами, портретами в рост и дверями в соседние помещения. По сторонам этих дверей вверху находились двена-

дцать лепных лавровых венков, окружавших названия мест, где происходили наиболее значительные сражения 1812—1814 годов, от Клястиц, Бородина и Тарутина до Бриена, Лаона и Парижа. Галерея, изображенная на картине, отличалась от современной только отсутствием хоров, своеобразными люстрами в виде громадных лавровых венков и тем, что была несколько короче. Кроме трехсот с лишним портретов, написанных Доу, Поляковым и Голике, в галерее уже в 1830-х годах помещены были большие конные портреты Александра I и его союзников — короля прусского Фридриха Вильгельма III и императора австрийского Франца Иосифа I. Два первых написаны берлинским придворным художником Ф. Крюгером, третий — венским живописцем П. Крафтом.

Такой, какой изобразил ее Чернецов, галерея просуществовала почти одиннадцать лет. Пожар, начавшийся в Зимнем дворце вечером 17 декабря 1837 года и бушевавший здесь трое суток, уничтожил декоративное убранство всех залов, в том числе и Военной галереи. Однако ни один портрет не пострадал — они были вынесены гвардейскими солдатами, самоотверженно спасавшими их от огня. В 1838—1839 годах галерея была заново отделана по чертежам архитектора В. П. Стасова. В этом виде она сохранилась доныне.

В советское время галерея пополнилась четырьмя портретами чинов роты дворцовых гренадеров — особой части, сформированной в 1827 году из ветеранов Отечественной войны и несшей почетную караульную службу во дворце. Эти портреты написаны с натуры Д. Доу в 1828 году. Для нас они интересны и дороги как чрезвычайно редкие портретные изображения рядовых участников войны 1812—1814 годов. Это те самые герои-солдаты, что, непрерывно сражаясь, прошли от русской границы на Немане до Бородина, а

затем от Тарутина до Парижа, на своих штыках принеся народам Европы мир и освобождение от ига Наполеона. Это те герои, без мужества и стойкости которых невозможны были бы прославленные победы полководцев, чьи портреты украшают стены галереи.

В недавнее время, после войны, помещены в галерее и две большие картины работы П. Хесса, написанные в 1840-х годах для Зимнего дворца. Они посвящены событиям, сыгравшим решающую роль в кампании 1812 года. На первой представлен наиболее напряженный момент Бородинского сражения. В центре — раненый Багратион, сидя на земле, отдает распоряжения офицерам своего штаба; левее — на белой лошади генерал Коновницын, принявший командование 2-й армией; еще левее, на втором плане,— построившиеся в каре батальоны гвардейской пехоты отражают залпами атаки кавалерии Мюрата. Справа от группы, окружающей Багратиона,— несущиеся на французов кирасирские полки бригады Бороздина. На другой картине изображен разгром отступающей французской армии при переправе через Березину. На заднем плане видны до отказа заполненные людьми, лошадьми и повозками временные мосты, обстреливаемые русской артиллерией. Ближе к зрителю — группы стремящихся к переправе людей, окончательно утративших воинскую сплоченность и дисциплину; лишь немногие пытаются отбиваться от напавших на них казаков. Тут же, у потухающих костров,— умершие от истощения французы, до последнего вздоха не расставшиеся с награбленными в России ценностями.

Наконец, еще одним добавлением наших дней в галерее является находящаяся справа от портрета Барклая-де-Толли мраморная доска с начальными строками стихотворения Пушкина «Полководец». Она установлена здесь в июне 1949 года, к 150-летию со дня рождения великого поэта.

Обратимся к более подробной истории создания портретов. Она характерна для своего времени и небезынтересна посетителям музея.

Осенью 1818 года в прирейнском городе Ахене происходил первый конгресс пресловутого Священного союза, поставившего своей задачей сохранение в Европе феодально-абсолютистских начал. Коронованные и сановные представители России, Австрии, Англии и Пруссии съехались сюда, чтобы обсудить вопросы, связанные с возвращением недавно побежденной Франции положения великой державы.

На два месяца провинциальный Ахен, известный лишь целебными водами и святынями древнего собора, превратился в оживленный центр европейской политики. Совещания, приемы и банкеты следовали непрерывной чередой. Нарядные кавалькады и сверкающие экипажи заполнили улицы. Ахенские и приезжие купцы торговали бойко и прибыльно. Афиши извещали о подъеме воздушных шаров с немецкими воздухоплавательницами, о состязании английских боксеров, о концертах и спектаклях артистов всех наций. Звенело золото в игорных домах, где шла недавно вошедшая в моду игра в «красное и черное».

В числе людей разных профессий, приехавших в те дни в Ахен, было несколько живописцев, привлеченных возможностью добиться выгодных заказов на портреты знатных особ. В свите герцога Эдуарда Кентского сюда приехал Джордж Доу — художник, уже получивший на своей родине известность и пять лет назад избранный в Лондоне членом Королевской академии.

Находившийся тогда в Ахене знаменитый портретист Т. Лоуренс оставил свидетельство, что Доу настойчиво пытался стать лично известным Александру I. И это ему удалось. Живший в одном доме с царем, бессменный его спутник в разъездах по России и

Европе, начальник Главного штаба князь П. М. Волконский заказал Доу свой портрет. Во время сеанса в комнату вошел царь. Он был поражен сходством портрета и быстротой, с которой работал художник. Вскоре Доу получил приглашение приехать в Петербург для выполнения множества портретов русских генералов для Военной галереи в Зимнем дворце.

Предложение было заманчиво. Помимо написания заказанных царем портретов Доу, несомненно, мог рассчитывать на положение модного художника императорского русского двора и аристократии. Он ответил согласием и через несколько месяцев, весной 1819 года, приехал в Петербург.

Ни в одном из дворцов Европы не существовало портретной галереи, подобной той, что должна была украсить Зимний дворец. Создававшийся в это время в Виндзорском дворце «Зал памяти Ватерлоо», с его двадцатью восемью изображениями королей, военачальников и дипломатов, мог лишь навести на мысль о Военной галерее, где должно было разместиться более трехсот портретов.

Главный штаб получил приказание Александра I подготовить списки лиц, изображения которых предстояло написать для галереи. Условием ставилось участие этих людей в боевых действиях против французов в кампаниях 1812, 1813 и 1814 годов, уже тогда состоявших в генеральском чине или произведенных в генералы вскоре после окончания войны за отличия, проявленные в боях.

Это правило с самого начала соблюдалось далеко не всегда. Правда, в соответствии с ним мы не найдем в галерее портретов Д. И. Лобанова-Ростовского и А. С. Кологривова, генералов, руководивших в 1812 году в глубоком тылу подготовкой резервов для действующей армии. Нет и портрета будущего декабриста М. Ф. Орлова, произведенного в генералы в только что

взятом русскими Париже именно за участие в переговорах о его капитуляции. Зато портрет графа Аракчеева оказался на почетном месте в галерее, хотя, как известно, этот всесильный временщик не только в 1812—1814 годах, но и за всю свою жизнь не участвовал ни в одном сражении. Для своего любимца царь нашел возможным сделать исключение.

Галерея сохраняется в неизменном виде со времени ее восстановления после пожара 1837 года. Поэтому наряду с портретами чтимых народной памятью героев двенадцатого года мы, помимо Аракчеева, видим в ней портреты и таких реакционеров, как Бенкендорф, Сухозанет, Чернышев и другие, сыгравших самую мрачную роль в политической и военной истории России. Вместе с доблестными боевыми военачальниками здесь запечатлено немало скорее придворных, чем военных людей, а также штабных прихлебателей или генералов, не прославленных храбростью в бою, но красноречивых в своих донесениях и угодливых перед начальством. Есть и такие, чья жестокость по отношению к солдатам и казнокрадство оставили свой след в памяти современников. Недаром один из доблестных участников Отечественной войны 1812 года писал о Военной галерее: «Сколько ничтожных людей теснят там немногих, по справедливости достойных перейти к уважению благодарного потомства! Глаза разбегаются, покуда отыщешь и остановишься на истинных героях этой народной эпопеи».

Составленные Главным штабом списки генералов передавались председателю Военного департамента Государственного совета графу Аракчееву, который представлял их Александру I, после чего они проходили утверждение Комитета министров и, наконец, сообщались в Инспекторский департамент Главного штаба, который должен был известить генералов о необходимости прибыть для позирования в мастерскую Доу,

куда также направлялись копии утвержденных списков.

Вскоре после приезда Доу в Петербург в отведенной ему в Шепелевском дворце (находился на месте Нового Эрмитажа) огромной мастерской начали сменять друг друга позировавшие художнику русские военачальники. Вероятно, они первые разнесли по городу весть об искусстве англичанина, об удивительной быстроте, с которой он работает, в два-три сеанса создавая чрезвычайно схожие и эффектные портреты.

Доу прожил в России почти десять лет и выполнил здесь не одну сотню портретов. Какие же сведения об этом человеке сообщают нам его современники — петербургские знакомые? Ровно никаких, ни слова. Никто не оставил нам даже самого беглого описания его наружности, манер, не записал высказываний о нашей стране, так щедро оплачивавшей его труд. Это можно объяснить только тем, что Доу не сближался с русскими людьми. Он нигде не бывал, ни с кем не общался вне своей профессии. С первых дней жизни в Петербурге он напряженно и неутомимо работал, по многу часов простаивая перед мольбертом то в своей дворцовой мастерской, то в богатых домах частных заказчиков. И такая изолированность происходила вовсе не от безграничной преданности искусству — близко наблюдавшие его люди скоро разгадали, что Доу владела всепоглощающая страсть к деньгам. С этой страстью англичанин приехал в Россию и только ей ревностно служил все прожитые здесь годы.

Всегда ли был таким этот несомненно талантливый художник? По-видимому, нет. Джордж Доу, сын гравера Филиппа Доу, родился в Лондоне в 1781 году. Он учился в Лондонской Академии художеств, которую окончил двадцати двух лет с золотой медалью, был хорошо образован — изучал древнюю литературу, владел четырьмя европейскими языками. Его крест-

ным отцом и старшим другом был талантливый художник — жанрист и пейзажист Джордж Морланд, умерший в лондонской долговой тюрьме в 1804 году. Через три года Доу написал биографию Джорджа Морланда и издал ее за свой счет.

После окончания Академии Доу создал ряд картин, в которых стремился запечатлеть «в лицах и фигурах» выражение сильных человеческих чувств. Таковы «Бесноватый», «Негр и буйвол», «Мать, спасающая ребенка из орлиного гнезда» и другие. Через десять лет Доу занялся портретной живописью, которая вскоре принесла ему известность — в числе заказчиков оказались представители королевского дома и высшей аристократии. После пребывания в Ахене он провел зиму на континенте, в Германии, в Кобурге и Веймаре, где написал ряд удачных портретов, в том числе портрет Вольфганга Гете. Однако теперь Доу жаждал не столько известности, сколько больших денег.

В Россию приехал уже не юноша, который некогда скорбел о судьбе Джорджа Морланда и возмущался жестокостью погубивших его заимодавцев; окружавший Доу мир дельцов и торгашей, религией которого было поклонение золоту, заставил художника расстаться с иллюзиями молодости.

Что же могло быть заманчивее огромных, на много лет гарантированных заработков? За каждый портрет, написанный для галереи, Доу получал тысячу рублей ассигнациями (около 250 рублей серебром) — сумму для того времени значительную. Наиболее известным русским художникам за портрет такого формата платили в три-четыре раза меньше.

Как сообщалось в одной из журнальных статей 1820 года, Доу за первый год пребывания в России написал около восьмидесяти портретов для галереи. Осенью того же года он показал четыре лучших из них на выставке в Академии художеств, рядом с на-

писанными до приезда в Россию портретами герцога Кентского, испанского генерала Олавы, лондонской актрисы О'Нейль в роли Джульетты и другими. Наконец, тут же посетители могли увидеть образцы заказов, выполненных Доу в Петербурге.

Выставка 1820 года с немногими, но тщательно подобранными работами Доу доставила ему звание «почетного вольного общника» Петербургской Академии художеств и, что было для него гораздо важнее, сыграла роль своеобразной рекламы. Многие члены царской семьи, придворные и министры, родовитые дворяне и гвардейские офицеры захотели быть написанными английским художником и наперебой заказывали ему свои портреты. И он успевал писать всех, не упуская ни одного выгодного предложения, работал как одержимый.

Первые два-три года Доу работал один, упрочивая свою известность. Потом в снятой им большой квартире в доме Буланта на Дворцовой площади[1] была создана целая мастерская по размножению портретов его работы, каждый из которых должен был принести автору как можно больше прибыли. Сначала здесь поселились вызванные из Англии граверы — зять Доу, Томас Райт, и младший брат, Генри Доу, принявшиеся репродуцировать в отличных гравюрах пунктиром и черной манерой произведения своего родственника. Спрос на эти листы, которые с выполненных в Петербурге досок печатались в Лондоне и привозились на продажу в Петербург, был велик, несмотря на высокие цены: хорошие оттиски стоили двадцать — двадцать пять рублей ассигнациями. Их приобретали сами изображенные, чтобы дарить близким людям, их родные, сослуживцы и подчиненные, штабы и управления, которые они возглавляли, учебные заведения,

[1] Стоял у проезда к Певческому мосту.

где учились, и т. п. Приобретали их, наконец, любители гравюр в России и за границей.

В 1822 году стало очевидно, что темп создания портретов для галереи необходимо ускорить. Генералы, служившие в Петербурге или близ него, как и бывавшие в столице по делам службы, уже посетили мастерскую Доу, а Инспекторскому департаменту Главного штаба далеко не всегда было известно место проживания вышедших в отставку генералов и тем более, где искать наследников и родичей тех, которые скончались к началу работы Доу. Поэтому военная газета «Русский инвалид» (№ 169) поместила сообщение о создании Военной галереи в Зимнем дворце, сопровождаемое обращением к отставным генералам и родственникам уже умерших с просьбой доставить в Петербург их портреты для копирования в нужном для галереи размере.

Архив сохранил много писем с различных концов России — от генералов Шестакова из Елизаветграда, Казачковского из Царицына, Вельяминова из Тифлиса, Сабанеева из Тирасполя и т. д., сообщавших о посылке в Главный штаб или прямо в мастерскую Доу своих ранее выполненных портретов, поясняя, что они не могут приехать в столицу, будучи заняты службой, по нездоровью или за дальностью расстояния. Конечно, не все решались многие недели трястись по плохим дорогам — а они везде были очень плохи,— направляясь в Петербург с Кавказа, Украины, Поволжья или Волыни только для того, чтобы два-три раза позировать художнику. Не так-то легко было для командующих бригадами, дивизиями, корпусами и особенно для старых, израненных в боях отставных генералов, доживавших век в поместьях, часто в глухих «медвежьих углах», предпринять такую поездку, обходившуюся к тому же недешево. Многие даже из Москвы присылали выполненные там портреты, хотя переезд из од-

ной столицы в другую путешественника в генеральском чине, которому на почтовых станциях без задержки предоставляли сравнительно удобный ночлег и самых резвых лошадей, занимал всего трое-четверо суток.

Пересылка портретов в Главный штаб сопровождалась разнообразными письменными комментариями. Так, генерал Игнатьев, отправляя из Москвы портрет, писанный Кинелем, сообщал: «Работа его, рассматривая вблизи, покажется не из лучших, но вдали совсем другое действие, а главное, сходствие имеет большое». А генерал Сандерс, посылая из Дерпта свой портрет, писанный в 1811 году, просил только добавить на нем две медали, полученные за войну 1812 года, очевидно, новых наград он не удостоился.

Весьма своеобразны бывали письма родственников, препровождавших в Петербург портреты уже скончавшихся генералов. Так, вдова донского казака И. Ф. Чернозубова, умершего в 1821 году, Марфа Яковлевна, проживавшая в станице Голубенской, посылая портрет, писанный в 1806 году, утверждала, что «в течение времени его жизни в лице перемена была очень малая, лишь в волосах сделалась небольшая проседь».

Иногда поиски родичей, которые могли бы владеть нужным портретом, длились много месяцев. Так было с розыском изображения долголетнего приятеля М. И. Кутузова, бездетного генерал-лейтенанта Н. И. Лаврова, командовавшего в 1812—1813 годах 5-м пехотным (гвардейским) корпусом и умершего на походе в Германии. К тому времени, когда начались поиски его портретов, умерла и вдова генерала, но Инспекторский департамент получил известие, что в Кромском уезде Орловской губернии проживает сестра покойного, и обратился за содействием к гражданскому губернатору, который снарядил к ней земского

исправника. Пространное «объяснение вдовы поручицы Катерины Ивановой дочери Сомовой» сохранилось в архиве. В нем сказано: «Покойный брат мой не позволял никому списывать с себя портретов и по сей-то причине оного портрета не бывало как у меня, так же и у покойной его жены». На этом «объяснении» начальник Главного штаба П. М. Волконский наложил краткую резолюцию: «Если нет портрета, то почесть дело конченным». Однако память о генерале Н. И. Лаврове сохранена в галерее в виде рамки, затянутой зеленым шелком с гравированными на золоченой дощечке его чином, инициалами и фамилией.

Случалось, что подолгу разыскивали и живых генералов, находившихся еще на действительной службе. С трудом выяснилось место пребывания командира 4-го резервного кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта графа П. П. Палена (Палена 1-го), получившего отпуск для лечения. Главный штаб писал запросы в Министерство иностранных дел, выдававшее ему заграничный паспорт, потом обращался к младшему брату, также генералу П. П. Палену (Палену 2-му), в город Елец, пока наконец обрели искомого Палена 1-го в имении Эккау, под Митавой. Поиски заняли более полугода, после чего генерал сообщил, что когда будет в Петербурге, то «не упустит воспользоваться разрешением» быть написанным Доу. И действительно, его портрет в галерее имеет подпись художника.

Да, именно так, для создания каждого портрета требовалось особое разрешение или, вернее, утверждение царя. Мы уже упомянули, что докладывал Александру I о списках генералов, чьи портреты предполагалось писать для галереи, Аракчеев. Этот временщик, сдав в 1810 году пост военного министра Барклаю-де-Толли и получив новое назначение — председателя Военного департамента Государственного совета, оставался членом Комитета министров, которому и доклады-

вал об утвержденных царем списках. Мы не встретили в архивных документах указания на случай, когда бы Комитет министров «отвел» кого-то, уже утвержденного царем. Однако далеко не все, внесенные Инспекторским департаментом в списки, утверждались Александром I, почти из каждого списка кто-то исключался по воле царя. Так случилось с генералами Пассеком, Мусиным-Пушкиным, Падейским, Родионовым, Красновым, Власовым, Вольцогеном и рядом других. Иногда «отклонение» сопровождалось мотивировкой. О Власове сказано: «Находился под следствием», о Вольцогене: «Как находящийся на иностранной службе». Чаще же встречается пометка: «Государь не соизволил на помещение в галерею». Это, например, сказано о любимце Суворова генерале И. К. Краснове, умершем от раны, полученной в канун Бородинского сражения. Больше повезло генералу О. В. Иловайскому (Иловайскому 10-му). На его письме из Новочеркасска, где он сообщает, что «полагает прибыть в Петербург по сдаче отправляемой ноне по войску должности», стоит резкая резолюция: «Не было повеления приезжать». Однако, очевидно, позже разрешение было дано, так как в галерее имеется портрет этого генерала с подписью Доу и пометкой: «Painted from nature».

Наконец, и списки, подаваемые Главным штабом Аракчееву, не обходились без пропусков имен порой весьма известных генералов, особенно если они были убиты на войне или скончались после нее, но до начала составления списков. В 1824 году в числе заказанных Доу портретов не значились имена таких известных военачальников, как К. Ф. Багговут, убитый при Тарутине, П. А. Строганов, умерший в 1817 году, и другие, правда позже все же появившиеся в галерее. Но и после открытия в ней не оказалось портретов М. М. Бороздина, В. А. Сысоева, Е. К. Криштофо-

вича, И. А. Баумгартена, П. С. Лошкарева и других, что весьма удивляло современников. В середине XIX века военный историк генерал А. В. Висковатов составил список из 79 лиц, чьи портреты имели бы неоспоримое право быть помещенными в галерею, но в нее не попали по непонятным причинам.

Но вернемся к деятельности Доу. Сообщение «Русского инвалида», разошедшееся по всей России, несомненно, подействовало. После этой публикации резко увеличилось поступление в Главный штаб или непосредственно на имя художника портретов, которые требовалось скопировать в принятом для галереи формате. И не случайно как раз в это время в доме Буланта появляются два молодых помощника Доу — Александр Поляков и Василий (он же — Вильгельм) Голике. На них-то корыстолюбивый англичанин и переложил эту работу, в редких случаях только «подправляя» выполненные уже копии, касаясь их несколькими взмахами своей искусной кисти, но неукоснительно получая за каждый портрет установленный гонорар в тысячу рублей.

Рисковал ли Доу при этом? Нет или почти нет. Вероятно, расчет его был такой: раз человек не приехал позировать, то много шансов, что он вообще не появится в Петербурге, а следовательно, и не предъявит претензий к посредственно написанному портрету. Следует также учесть, что сообразно чинам, которые изображаемые лица имели в 1812—1814 годах, а не во время создания галереи, портреты должны были разместиться в ней так, чтобы весь нижний ряд, наиболее удобный для обозрения, и значительную часть второго занимал высший генералитет — семнадцать генералов от инфантерии, от кавалерии, от артиллерии и семьдесят девять генерал-лейтенантов. Для оставшейся же части второго и для трех верхних рядов, плохо видных зрителю, предназначались портре-

ты генерал-майоров. К последней категории и относилась бо́льшая часть копированных в мастерской Доу портретов. Разумеется, в тех случаях, когда лицо, бывшее в 1812—1814 годах всего генерал-майором, ко времени создания галереи заняло видное положение — получило звание генерал-адъютанта царя или руководящее место в каком-либо ведомстве, как было с Закревским, Бенкендорфом, Левашовым, Виттом и другими, или если оно принадлежало к высшей аристократии,— в этих случаях Доу писал портрет сам, не жалея труда и таланта. И место портрета оказывалось во втором ряду, на виду у посетителей галереи.

Напомним, что в каждом ряду галереи находится семьдесят погрудных портретов (кроме верхнего, в котором — 62), из них, по нашему мнению, сам Доу написал всего лишь около 150 портретов.

Посмертные изображения лиц высшего генералитета, которые должны были разместиться в нижнем ряду, например портреты Платова, Дохтурова, Багратиона и других, он наверняка исполнил сам или, по крайней мере, в значительной степени «прошел» своей кистью. Подпись Доу имеют только семьдесят четыре портрета.

Добавим еще, что со стороны Главного штаба и Управления Зимним дворцом, в ведение которого должны были поступать портреты для галереи, никто в течение многих лет не проявил критического отношения к работам Доу. Оба эти ведомства готовы были всячески поощрять быстрое изготовление портретов, отнюдь не интересуясь качеством их исполнения,— ведь сам царь хотел поскорее увидеть галерею открытой, и он же избрал художника для ее создания. Доу сообщал об исполнении очередного заказа, и этого было достаточно, чтобы ему выплачивалась установленная сумма.

Русские помощники Доу были постоянно заняты копированием портретов, сделанных патроном, но не

предназначавшихся для галереи. Мы знаем, например, что губернские дворянские собрания и правительственные учреждения заказывали Доу большие, в рост, портреты Александра I, являвшиеся копиями или незначительными вариантами полотен, уже написанных им для царских дворцов, и платили за каждый по две-три тысячи рублей ассигнациями. Такие работы Доу только подправлял и подписывал, а выполняли их все те же Поляков и Голике.

Наконец, на мольбертах молодых художников одна за другой сменялись копии с генеральских портретов, выполненных Доу для галереи, а также с портретов сановников и аристократов, исполненных им по частным заказам. Эти повторения, порой многочисленные, заказывали и сами изображенные, члены их семей и учреждения, которые они возглавляли, где заказ оплачивался из казенных средств или из средств, собранных по подписке среди чиновников. Вспомним, что в числе написанных Д. Доу были портреты А. А. Аракчеева, А. Н. и Д. В. Голицыных, В. П. Кочубея, архимандрита Фотия, М. М. Сперанского, Н. С. Мордвинова, А. П. Ермолова, Е. Ф. Канкрина, И. И. Дибича, И. Ф. Паскевича, П. М. Волконского, А. И. Чернышева, М. С. Воронцова и других, игравших видную роль как при Александре I, так и в первые годы царствования Николая I.

Известен также не один случай, когда особенно знатным и богатым заказчикам-генералам Доу отдавал написанные для галереи оригиналы, конечно за весьма крупную сумму, а в галерею направлялась копия, исполненная опять-таки Поляковым или Голике, сполна оплаченная казной как оригинал.

Копии, копии, копии — сотни копий выполняли в мастерской Доу никому не известные художники, день за днем, месяц за месяцем, год за годом.

Как же оплачивался их труд? Может быть, Поля-

ков и Голике жили в довольстве и, пользуясь счастливыми обстоятельствами, так же, как их патрон, откладывали немалые деньги на «черный день»? Нет, сухой и черствый англичанин относился к Полякову и Голике с удивительным бессердечием. Кому могли они жаловаться? На что мог рассчитывать, кроме работы копииста, Голике, хотя и свободный, но не имевший художественного образования и, по отзыву современника, «бедный и робкий человек, не знавший себе цены»?

Еще хуже было Полякову, крепостному бесправному юноше, отданному в полное подчинение английскому живописцу своим барином, богатым помещиком генералом П. Я. Корниловым. Заключив в 1822 году договор, по которому Поляков поступал «в ученье и работу» к Доу вплоть до его отъезда в Англию, генерал Корнилов нимало не интересовался, исполняется ли обещание отпускать крепостного живописца в вечерние классы Академии, учит ли его чему-нибудь сам иностранный мастер, да и вообще как ему живется. А уж Доу позаботился, чтобы полностью изолировать крепостного художника от внешнего мира: он жил в квартире Доу, питался вместе с его слугами, здесь же работал с утра до ночи и нередко «болел грудью» от непосильного труда в нездоровой обстановке, а за дни болезни англичанин неумолимо высчитывал причитавшиеся Полякову жалкие рубли.

Приведем расчет «вознаграждения» крепостного художника. По договору, заключенному с его хозяином, он должен был получать восемьсот рублей ассигнациями в год. Из этой суммы четыреста пятьдесят рублей Доу высчитывал за скудный стол, а двести рублей Поляков отсылал в виде оброка своему барину. На одежду, обувь, белье, баню и т. п. оставалось сто пятьдесят рублей в год, из них же шли и вычеты за дни болезни. И это при тех огромных барышах, ко-

торые приносила Доу удивительно быстрая и точная работа подневольного кописта.

В последние годы пребывания в мастерской Поляков писал по одному царскому портрету в день — за сутки отрабатывал годовое жалованье! Трудился он в полном одиночестве. Ему запрещалось встречаться даже с Голике, находившемся в другой комнате той же квартиры. Оба они целыми днями видели только свои сменявшиеся бесчисленные холсты — копии.

В середине 1820-х годов Доу достиг зенита славы, он был окружен почетом и завален заказами. На гравюре Беннета и Райта по рисунку А. Мартынова, отпечатанной в 1826 году, Доу изображен в своей мастерской в Шепелевском дворце, где позировали ему русские военачальники и многочисленные представители высшего петербургского общества. Перед нами большой зал, залитый светом из двухъярусных окон, выходивших на Зимнюю канавку. Лепной потолок с дворцовой хрустальной люстрой, мраморные колонны, изразцовая печь, увенчанная вазой, блестящий узорный паркет — таков интерьер этой мастерской, в которой мы видим Доу, приготовившегося писать портрет Александра I. Царь в нарочито скромном вицмундире, со шляпой в руке, в манерной позе — именно таким мы знаем его на много раз повторенных портретах, подписанных Доу, и на гравюре Райта — остановился на фоне дверей, за которыми открывается перспектива Лоджий Рафаэля. Устремившийся к нему навстречу Доу во фрачном костюме, с кистью в правой руке, должно быть, приглашает Александра перейти в глубь мастерской, чтобы занять место перед мольбертом, лицом к свету. Все стены зала-мастерской покрывают готовые работы английского портретиста; здесь как бы выставка его произведений. Три верхних яруса «выставки» состоят из пятидесяти семи портретов, исполненных для Военной галереи. Размещенные та-

ким образом, они давали посетителю мастерской отчетливое представление, как будут выглядеть стены галереи. Ниже — холсты большого формата, среди которых без труда узнаем портреты великого князя Николая, его жены с детьми, Кутузова, Барклая-де-Толли, Ермолова, князя Меншикова, Сперанского. Рядом с ними — в рост, поколенные, поясные — портреты светских красавиц, сановников, генералов, изображенных на фоне нарядных интерьеров или романтических пейзажей.

Мы не видим на гравюре еще одной стены зала-мастерской, выходящей на Миллионную, но она частично отражена в большом зеркале, стоящем справа от двери в Лоджию, и также вся завешена и заставлена готовыми портретами. На заднем плане, между печью и дверью, вверху, ясно видна картина Доу «Мать, спасающая ребенка из орлиного гнезда». В этой мастерской среди множества парадных портретов она кажется странной, чуждой окружающему ее мишурному блеску мундиров, орденов, бальных платьев и напоминает о времени, когда ее автор создавал картины по собственному замыслу, когда он ставил себе совсем другие задачи.

Можно сказать с уверенностью, что ни один русский художник не только в 1820-х годах, но и в более позднее время не знал таких великолепных условий для работы, какие были созданы для Доу двором и официальным Петербургом. Они окружили английского портретиста почетом, дали ему баснословный заработок и превозносили его произведения не только в салонной болтовне, но и в печати — развязным и бойким пером Фаддея Булгарина.

Одновременно с этим существовало и другое — критическое — отношение к работам и личности Доу со стороны русских людей, близких к искусству. Они осуждали поручение иностранному художнику такого

глубоко патриотического по своему значению дела, как создание портретов Военной галереи. Почему иноземец будет творить этот памятник величайшим победам русского оружия, освободившего Европу от ига Наполеона? Разве не могли призвать русских художников к выполнению этой задачи? Выразителем такого мнения в печати был П. П. Свиньин, редактор-издатель журнала «Отечественные записки», впервые высказавший его, правда в очень сдержанной форме, вскоре после показа работ Доу широкой публике осенью 1820 года.

В статье, посвященной выставке в Академии художеств, подробно разобрав экспонировавшиеся на ней произведения Щедрина, Варнека, Воробьева, Мартынова, Егорова, Шебуева и других, особенно выделив живопись юного, безвестного еще ученика Академии — Карла Брюллова, Свиньин переходит к работам иностранных живописцев, среди которых останавливается на одном Доу: «Общее внимание привлекли к себе портреты г. Дова (Доу.— *Авт.*), коим посвящена целая комната, как по отличному искусству художника, так и потому, что всякий из русских видел в нем того артиста, коему судьба предоставила счастье передать потомству лики русских генералов, предводительствовавших воинствами, кои в 1812 году отразили несметные полчища Наполеона... Дов имеет необыкновенную способность писать скоро и схватывать сходство лиц... Жаль, что он очень спешит и не отрабатывает свои произведения таким образом, чтобы, потеряв сходство (то есть когда умрут изображенные на них лица.— *Авт.*), они могли оставаться картинами...».

В этой статье редактор «Отечественных записок» не решился прямо высказаться против выбора двора и ограничился приведенными здесь критическими замечаниями. Но в другой статье, напечатанной в том же выпуске журнала, читатель прочел дышащие го-

речью строки, осуждавшие предпочтение, оказываемое иностранцам, и едва ли направленные в иной адрес: «Главной препоной нашим артистам служит... остаток жалкого предубеждения нашего в пользу иностранцев, предубеждения столь сильного, что оно затмевает самое знание живописи. Достаточно быть иностранцем и приехать из Парижа, Вены, Берлина, чтобы обирать по произволу деньги... Он не имеет нужды в таланте, превосходящем таланты отечественных художников... Надобно, однако, отдать справедливость, что иностранные артисты решительно берут верх над русскими в особенной способности хорошо выставлять свой талант».

Как известно, деятельность Свиньина-журналиста в целом справедливо критиковалась еще передовыми его современниками, но его отношение к изобразительному искусству, нам кажется, заслуживает иной оценки. Неутомимый собиратель произведений русской живописи и памятников отечественной старины, Свиньин на страницах своего журнала впервые знакомил широкую публику с доступными только немногим собраниями произведений искусства, принадлежавшими частным лицам, освещал выставки Академии художеств, особенно внимательно относясь к произведениям русских живописцев, рассказывал о памятниках русского искусства, находящихся в провинции, выявлял таланты из народа.

Порой преувеличивая способности открытых им «самородков» — Слепушкина, Гребенщикова, Власова и других, П. П. Свиньин, однако, сумел по достоинству оценить дарование братьев Чернецовых, которых заботливо и бескорыстно опекал. Он же безошибочно определил творческие возможности В. А. Тропинина — тогда еще малоизвестного крепостного портретиста. С 1820 года Свиньин стал деятельным членом только что основанного Общества поощрения художников, сыграв-

шего — особенно в первые десятилетия своего существования — столь положительную роль в развитии и популяризации русского искусства.

Вероятно, если бы Доу ограничил свою деятельность в Петербурге исполнением портретов для Военной галереи и ролью модного портретиста высшего общества, подобного многим до и после него приезжавшим в Россию иностранным художникам, Свиньин не пошел бы дальше цитированных замечаний о преклонении русской аристократии перед всем иностранным и о живописи Доу, казавшейся редактору «Отечественных записок» эскизной и торопливой. Но предпринимательские замашки английского художника, его безудержное стремление к наживе и эксплуатация труда русских живописцев нашли в Свиньине сурового обвинителя, терпеливо собиравшего материалы, чтобы выступить с ними, когда выдастся благоприятный момент.

Доу продолжал изыскивать все новые пути для умножения своих доходов. Он уже не довольствовался барышами от продажи гравюр и бесчисленных живописных копий со своих работ. Мастерская на Дворцовой площади пополняется художниками Г. Гейтманом и А. Тоном, которые репродуцируют работы Доу литографией — способом, более скорым для выполнения и более дешевым, чем гравюры. Сначала это было только расширение «торгового ассортимента». Но через некоторое время мастерская выполнила литографскую репродукцию большого формата с портрета Александра I в рост. Пропитанную лаком и наклеенную лицевой стороной на холст (при этом штрихи и другие особенности литографии становились невидимыми) репродукцию можно было расписать масляными красками и продавать за живописное произведение, что являлось уже прямым мошенничеством.

Смерть Александра I осенью 1825 года не измени-

ла привилегированного положения Доу, перед которым открылась новая «золотая жила». Правительственные учреждения спешили заказывать ему портреты нового царя. Одно только Морское ведомство пожелало иметь тридцать больших портретов, которые за месяц написал Поляков.

Притоку подобных заказов, несомненно, помогала велеречивая реклама «Северной пчелы». Описывая в августе 1826 года посещение мастерской Доу и расхвалив портрет нового царя, Фаддей Булгарин писал: «Художник получил уже множество требований на оный из разных мест от Сибири до Лондона и Парижа. Между прочим, герцог Девонширский пожелал украсить им один из дворцов своих...» А через полгода в той же «Северной пчеле» было помещено объявление: «Желая, чтобы значительная часть верноподданных могла насладиться верным изображением своего возлюбленного монарха, г. Дов снял с подлинной картины самые сходные копии и решился распространять оные по всей обширной империи, доставляя по требованию не только в иногородние присутственные места, но и частным лицам». Можем ли мы, читая эти елейные строки, сомневаться в том, кто «снимал самые сходные копии» в таком количестве?

Вероятно, именно эта перегруженность Доу и его помощников заказами «со стороны», приносившая огромный доход алчному англичанину, была виной тому, что без малого через восемь лет после начала его работы в России сто с лишним погрудных портретов русских генералов не были еще выполнены. Но это не отодвинуло срока открытия галереи. 25 декабря 1826 года на стенах ее находились двести тридцать шесть портретов, а сто шесть рамок, под которыми стояли уже фамилии генералов, оставались пустыми, затянутыми зеленым репсом. На торцовой стене, против входа в предцерковную, под балдахином был вре-

менно поставлен портрет Александра I в рост, который в будущем надлежало заменить изображением царя на коне. Несмотря на такую, казалось бы, очевидную «неисправность» в выполнении взятой на себя задачи, Доу присутствовал на открытии галереи в свите Николая I и был «героем дня», на которого изливались поздравления и любезности царя и лесть придворных.

Приближалось окончание дела, для которого англичанин был приглашен в Россию. Галерея требовала срочного завершения. Помощники Доу напряженно трудились над погрудными портретами. Самому мастеру предстояло написать семь больших портретов полководцев и самодержцев-союзников, что, несомненно, не представляло особой трудности для такого опытного живописца, тем более что над некоторыми из них — Кутузова, Барклая-де-Толли и Александра на коне — он уже немало поработал.

Однако с открытием галереи все законченные портреты стали доступны для обозрения, и не надо было обладать особенно острым глазом, чтобы убедиться в том, насколько неравноценны они по своим художественным качествам. Но это не особенно беспокоило Доу. Уверенный в прочности своего положения, он рассчитывал, и, наверное, справедливо, на сильное впечатление, которое производили на каждого многочисленные портреты в эффектно отделанном помещении, а также на то, что, как уже говорилось выше, два хорошо доступных глазу ряда занимали превосходно написанные им самим портреты, в то время как размещенные выше тонули в полумраке петербургского дня или в скудных отблесках восковых свечей. Рассматривая два нижних ряда — полтораста хорошо видных портретов, зритель мог убедиться в том, как успешно справился Доу с трудной задачей создания большого числа нивелированных единым размером изображений.

И хотя Доу работал в модной для того времени романтической манере, стремясь к тому, чтобы герои его имели «победительный» вид, в портретах, написанных им самим, мы всегда ощущаем характер человека, его тонко подмеченную художником индивидуальность.

Есть основания думать, что в связи с приближающимся отъездом из России Доу в 1826—1827 годах был более прежнего озабочен увеличением своих и без того огромных доходов. Правда, и в столицах Западной Европы его ожидали почетный прием и выгодные заказы — за годы работы в Петербурге он был избран членом Флорентинской, Дрезденской, Стокгольмской и Парижской академий, а лучшие из выполненных им портретов, репродуцированные в гравюрах и литографиях, находились уже во всех крупных коллекциях мира, способствуя его дальнейшей славе. Но все же на такой размах его «художественной» деятельности, как в России, вряд ли можно было рассчитывать где бы то ни было. И Доу помещает в «Петербургских ведомостях» объявление о том, что его мастерская принимает заказы на выполнение портретов Александра I, Николая I и его жены в любом формате и любом количестве. В то же время он делает гостинодворского купца Федорова своим комиссионером и при его посредничестве отправляет партии работ Полякова и Голике на Макарьевскую ярмарку в Нижний Новгород.

Осенняя выставка 1827 года в Академии художеств выглядела как триумф Доу. Его произведениям было отведено лучшее помещение — конференц-зал, стены которого целиком закрывали более ста пятидесяти портретов. Двадцать из них изображали членов царской семьи; восемь — иностранных аристократов, ученых, писателей; десять — русских сановников. Здесь же поместили около ста двадцати из написанных для галереи погрудных портретов генералов.

«Северная пчела» посвятила выставке статью, в

которой портретам Доу давалась восторженная оценка. «Даже те, которые не расположены хвалить г. Дова, как он того заслуживает,— отмечал Булгарин,— признают, что он пишет головы в совершенстве, а мы прибавим, что его компоновка, колорит, драпировка и рисунок соответствуют в надлежащей степени главному его искусству... Мы почитаем Дова за одного из первых художников нашего времени... Трудолюбие Дова и легкость в работе уступают только его дарованию».

В книжке «Отечественных записок», вышедшей несколькими неделями позже, был также помещен обзор выставки, написанный Свиньиным. Начиная его с работ Доу, которые посетитель видел первыми, критик отдавал им должное, но высокие достоинства признавал только за тремя портретами — Мордвинова, Сперанского и Сухтелена. Большинство же других казались ему «вроде эскизов, набросанных на полотно яркою, смелою кистью, без малейшей обработки». При этом Свиньин замечал, что «чернота, которой оделось уже большинство портретов Военной галереи, происходит также от поспешности, с каковою написаны они без подготовления, что в живописи известно под названием a la prima, и причем сила асфальты[1] всегда поборет все прочие краски». Далее Свиньин пишет: «Между тем как периодические наши издания наперерыв старались превозносить произведения г. Дова, между тем как знатные и богатые россияне стремились приносить ему тучные жертвы, я один оставался неизменно при моем заключении об отличном таланте г. Дова и о непростительной небрежности его кисти в тех произведениях, кои оставляет он в России; я один

[1] *Асфальта* — масляная краска коричневого цвета, приготовляемая из минеральной смолы; смешанные с нею другие краски неизменно темнеют.

осмеливался напоминать соотечественникам, что и у нас есть художники, исполненные талантов, требующие их покровительства...» Вслед за тем критик подробно разбирает работы русских художников, показанные в других залах выставки, с особой похвалой останавливаясь на произведениях Кипренского, Тропинина, Щедрина, Иванова, братьев Чернецовых, Венецианова и его учеников.

Скажем кстати, что Свиньин был несомненно прав, отмечая неблагополучное техническое состояние работ Доу. После открытия Военной галереи и поступления ее в ведение хранителей живописи Зимнего дворца и Эрмитажа более двухсот портретов были в течение одного года партиями возвращены в мастерскую Доу для «исправления» — они действительно темнели и трескались от излишка асфальты.

По тону цитированной статьи можно предполагать, что к этому времени Свиньин уже собрал достаточно материала, чтобы выступить в любой инстанции против Доу. Вероятно, наиболее сильным козырем являлась подготовленная не без его моральной поддержки просьба Полякова о заступничестве и освобождении из кабалы в мастерской Доу, адресованная Обществу поощрения художников. В этом документе крепостной живописец не только рассказывал о тяжких условиях своей жизни и эксплуатации, которой подвергался много лет, но сообщал также, что Доу систематически обманывает заказчиков, выдавая за авторские повторения копии со своих портретов, выполненные его помощниками, и наживает этим огромные деньги. Многочисленные ссылки на конкретные факты и на лиц, которые могли их подтвердить, делали просьбу Полякова настоящим обвинительным актом.

3 февраля 1828 года «предосудительные поступки» Доу обсуждались на заседании Общества поощрения художников под председательством одного из его ос-

нователей — статс-секретаря П. А. Кикина (в прошлом — генерала, участника Отечественной войны, портрет которого находится в галерее). Было решено не только попытаться освободить Полякова от крепостной зависимости (а тем самым и из мастерской Доу), на что уже собрали две тысячи рублей, но также немедленно особой докладной запиской сообщить о поведении английского художника Николаю I, считавшемуся покровителем Общества.

Обвинение было столь серьезным, что царь ответил очень скоро. По его приказу министр двора Волконский обратился к владельцу Полякова генералу Корнилову с запросом, сколько он желает получить за выдачу вольной своему крепостному художнику, и одновременно затребовал от П. А. Кикина все документы, касающиеся «предосудительных поступков» Доу. Общество тотчас представило новую обстоятельную докладную записку, в которой излагало известные нам разнообразные торговые аферы и обманы при выполнении заказов придворного ведомства, царской семьи и частных лиц, делая заключение, что Доу поступал «не как художник, думающий о чести, но как торгаш, который имел целью пребывания своего в России только одно накопление суммы и, ничем недовольный, пускался в предприятия коммерческие, даже непозволительные». В связи с этим действия Доу назывались без обиняков «преступным обманом», и внимание царя привлекалось к тому вреду, который принесла захваченная англичанином монополия на писание императорских портретов для дворцов и государственных учреждений, отнявшая заработок у многих русских живописцев.

Дополнением к докладной записке стали отдельные показания: купца Федорова — о продаже ему копий работы Полякова и Голике за оригиналы Доу, литографа и гравера Гейтмана — об изготовлении по зака-

зу Доу литографированного портрета Александра I для росписи его масляными красками и, наконец, показания академика живописи Венецианова — о недобросовестности Доу, проявленной им при исполнении портрета князя Голицына.

Налицо были все основания для привлечения Доу к ответственности. Однако этого не случилось. Наоборот, именно в то время, когда Николаю I стали известны материалы Общества поощрения художников, Доу был награжден почетным званием «первого портретного живописца» императорского двора. Но через короткое время положение изменилось. То ли до царя дошли какие-то дополнительные сведения о неблаговидном поведении Доу, то ли уж слишком широко стали обсуждаться возмутительные факты, собранные Обществом поощрения художников, но в начале мая 1828 года английский живописец получил приказ немедленно покинуть пределы России. Доу уезжал весьма скромно, без проводов и огласки.

Ведущая роль Свиньина в разоблачении Доу несомненна. Он открыто говорил о своем деятельном участии в этом — в статьях, опубликованных в 1828 году, и в дошедших до нас письмах к частным лицам. Несомненно также, что для Свиньина смысл борьбы с Доу заключался не только в освобождении из его мастерской Полякова, но и в том, чтобы показать русскому обществу весь вред, проистекающий от слепого предпочтения иностранцев отечественным талантам.

Завершая рассказ о создании Военной галереи, нам остается добавить, что в феврале 1829 года Доу возвратился в Петербург, чтобы закончить портреты в рост Кутузова, Барклая и Веллингтона. Именно в это время были приняты в Зимний дворец и помещены в галерею последние (двадцать один) портреты, выполненные более года назад Поляковым и Голике. По заказам Главного штаба остались несделанными трина-

дцать портретов. Но мастерская Доу более не существовала, и эта группа никогда не была написана,— рамки с тринадцатью фамилиями так и остались пустыми, затянутыми зеленым репсом. Большинство поименованных на рамках генералов к этому времени уже умерли, но некоторые, как А. Н. Потапов, И. Д. Иванов и А. А. Юрковский, продолжали служить и занимали сравнительно видное положение.

Уже чувствуя себя больным, Доу возвратился в Лондон. Он умер 3 октября 1829 года сорока восьми лет от роду в доме своей сестры, оставив капитал в сто тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей золотом).

Что же касается Александра Полякова, то судьба ему так и не улыбнулась. Вопрос об освобождении от крепостной зависимости был, казалось, решен еще в марте 1828 года, когда генерал Корнилов ответил на письмо министра двора, что согласен получить любую цену, которую назначит царь. Оставалось только совершить формальности. Но 10 июня того же года генерал умер в лагере русских войск под стенами осажденной турецкой крепости Журжа, и дело перешло к его наследникам. Последние совсем не торопились дать Полякову «вольную». Решение затянулось на целых пять с лишним лет, и только окончание Поляковым курса в Академии художеств, куда он был направлен Обществом поощрения художников, и необходимость присвоить ему звание свободного художника сдвинули это дело с мертвой точки. По новому письму министра двора наследники Корнилова дали свободу Полякову в октябре 1833 года и получили за это «подарок» — табакерку ценой в три тысячи рублей.

Вероятно, 1828—1833 годы были единственными сравнительно спокойными годами в жизни крепостного художника. Он наконец вырвался из мастерской

Доу, подневольные отношения с помещиками его не особенно тревожили — молодые Корниловы ничего от него не требовали, кроме уплаты ежегодного оброка. Он мог учиться и работать на заказ. За работой над женским портретом и запечатлен Поляков на единственном дошедшем до нас его изображении — наброске Г. Чернецова, относящемся именно к этим годам.

Однако Поляков часто болел — сказывались шестилетний непосильный труд и полная лишений жизнь. В 1834 году он все чаще вынужден был просить помощи Общества поощрения художников. 7 января 1835 года Поляков в возрасте тридцати четырех лет умер от чахотки. Похоронили его за счет того же Общества. Дошедшая до нас опись имущества Полякова говорит о крайней его нищете. Вероятно в связи с несоблюдением каких-то формальностей, аттестат на звание свободного художника, документ, который несомненно мог доставить умирающему Полякову большую радость, так и не был ему выдан, хотя лежал готовым в канцелярии Академии более полугода.

По поводу творчества Полякова еще недавно высказывалось мнение, что он был талантливым и зрелым мастером и будто бы многие прекрасные портреты Военной галереи писаны им, а не Доу. Такое утверждение явно ошибочно. Подписные работы Полякова, исполненные им до поступления в мастерскую Доу и во время первых лет пребывания в ней, хранящиеся ныне в фондах Костромского областного музея изобразительных искусств, говорят о весьма скромном его даровании. Все эти портреты, изображающие многочисленных членов семьи генерала Корнилова, при очевидной правдивости и некоторой выразительности, очень однообразны, тусклы по цвету и слабы в области анатомии — в строении плеч, рук, пропорциях тел и т. д. Глядя на ранние работы Полякова, мы имеем право сказать, что он мог бы стать хорошим

художником, не попади, на свое несчастье, двадцати одного года от роду в кабалу к Доу. Здесь он потерял и то немногое, чего достиг в Костроме, учась в юности у посредственного художника Поплавского.

Трагедия Полякова не в том, что Доу выдавал его оригинальные, якобы отличные работы за свои, чего никогда не было, а в том, что бесконечное копирование чужого рисунка, движений чужой кисти, цвета, увиденного чужим глазом, копирование по четырнадцать и более часов в сутки, продолжавшееся в течение шести лет, убило в крепостном живописце индивидуальное творческое начало, приучило его к штампу, от которого он уже никогда не мог отойти. Это трагедия, и она для художника куда страшнее, чем необходимость творить под чужим именем, но все же творить. Подобная работа для молодого живописца — неизбежная творческая смерть.

Если бы Доу хоть один портрет, исполненный Поляковым с натуры, выдал за свое произведение, то, конечно, современники, и прежде всего Свиньин, не преминули бы заговорить об этом. Написал бы об этом и сам Поляков в жалобе на тяжкую жизнь и работу у Доу. Нет, такого не было. Да и не нужно было англичанину идти в данном случае на обман. Пока он создавал себе имя, он работал один. Тогда им были написаны отличные портреты Сухтелена, Витта, Ланжерона, Юзефовича и многих других. И дальше, уже имея помощников, Доу делал те портреты, которые должны были находиться в галерее на виду, а Полякову и Голике, как мы уже говорили, поручал писать копии с изображений умерших или безвыездно живших в провинции генералов.

Судьба Голике сложилась вполне благополучно. Он был человеком свободным, и это не давало Доу возможности заставить его нести такую же тяжкую живописную барщину, в которой зачах Поляков. После

отъезда английского художника из России Голике поступил в Академию художеств и окончил ее в 1832 году. До конца жизни (1848) он работал в Петербурге как второстепенный портретист, получая порой выгодные заказы. Но и на Голике многолетнее копирование в доме Буланта наложило свою печать, которую не могла изгладить Академия. В 1834 году он написал автопортрет с семьей и покойным уже Доу, произведение, в котором только лица в какой-то степени удались художнику. Выполнение этого портрета свидетельствует о том, что Голике, очевидно, не питал неприязненных чувств к своему патрону. Созданный им облик Доу, вероятно, соответствует натуре: перед нами холодный, волевой человек, устремивший внимательный и жестокий взгляд на невидимую модель, которую он рисует...

Остановимся на некоторых данных, почерпнутых из послужных списков тех, чьи портреты находятся в галерее.

Во-первых, коснемся вопроса о том, скольких же человек из генеральского состава русской армии не было в живых или не состояло на действительной службе к началу работы над портретами галереи, то есть через пять лет после окончания войны. Послужные списки позволяют уточнить, что в кампаниях 1812—1814 годов были убиты или умерли от ран двадцать три генерала; за то же время скончались от болезней семь. В первое мирное пятилетие 1814—1819 годов получили отставку сорок шесть генералов, семь были отчислены от должностей, навсегда оставшись без нового назначения. В это время умерли двадцать два генерала, представители старшего поколения,— Барклай-де-Толли, Винцингероде, Гампер, Дохтуров, Платов, Панчулидзев, Ставраков, Тормасов, Шкапский, Шуханов и другие. Начав боевую службу еще в XVIII веке, они почти непрерывно продолжали ее в Молда-

вии и Валахии, в Богемии и Моравии, в Финляндии и других местах — всюду, где до 1812 года шли военные действия.

Во время войн начала XIX века смертность солдат от болезней в два-три раза превосходила число убитых и умерших от ран. Причинами такого положения были дурно организованное питание солдат на походе, их неудобная, тесная одежда — очень холодная зимой и мучительно жаркая летом, тяжелая ноша на марше, отвратительное состояние госпиталей. Для представителей высшего командного состава соотношение цифр оказывалось обратным. Оно и понятно: передвигались они только в коляске или верхом, зимней одеждой были обеспечены, питались хорошо, ночевали обычно в тепле и под крышей, лечили их своевременно и тщательно.

Из трехсот тридцати двух генералов, командовавших частями и соединениями в 1812—1814 годах, чьи портреты помещены в Военной галерее, восемьдесят воевали под руководством Суворова или служили под его начальством. Шесть из них в 1787 году сражались на Кинбурнской косе, трое — участвовали в 1789 году в разгроме турецкой армии при Фокшанах и Рымнике, двадцать семь — в 1790 году штурмовали Измаил, тридцать девять — сражались в 1794 году в Польше; семнадцать генералов были участниками Итальянского и Швейцарского походов 1799 года. Некоторым посчастливилось быть соратниками великого полководца не в одной, а в нескольких кампаниях.

Для военачальников, учеников Суворова, Отечественная война 1812 года — время наивысшего патриотического подъема и полного применения накопленного боевого опыта. Но для большинства из них кампании 1812—1814 годов были последними. Начавшийся после Венского конгресса период политической реакции ознаменовался в армии поворотом к прусским

традициям жестокой муштры, плац-парадной шагистики, «фрунтового акробатства» и всякого подавления инициативы — поворотом к полному забвению суворовских и кутузовских традиций. Боевые генералы, для которых солдат являлся соратником и товарищем, а не «механизмом, уставом предусмотренным», стали не нужны, их выживали «на покой» под предлогом возраста, ран и расстроенного в походах здоровья.

Просматривая данные о службе сорока шести генералов, ушедших или уволенных в отставку в 1814—1819 годах, мы узнаем, что двадцать один из них принадлежал к суворовским сподвижникам. А если прибавить к этому еще двадцать соратников великого полководца из числа убитых во время военных действий или умерших с 1812 по 1819 год, то окажется, что уже через пять лет после окончания войны с Наполеоном в армии не осталось и половины тех, кто по праву мог бы считаться продолжателем передовых традиций русской боевой школы, хотя многие из оказавшихся в отставке имели от роду всего лишь сорок пять — пятьдесят лет. Такое намеренное «очищение» рядов генералитета от лиц, имевших большой боевой опыт, и подсказанное этим опытом отношение к военному делу продолжалось и в последующие годы, уже при Николае I. А. И. Герцен писал: «Прозаическому, осеннему царствованию Николая... нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советчики, вестовые, а не воины...»

Каково же было военное образование генералов — участников кампаний 1812—1814 годов? Оказывается, что только пятьдесят два человека учились в русских военных школах, в немногих существовавших в то время кадетских корпусах.

Значительно большее число (восемьдесят пять человек) начало свою службу нижними чинами гвардии и, дойдя в ней до старшего из унтер-офицерских — сер-

жантского чина, было выпущено в армию офицерами, чаще всего капитанами. Следует помнить, что, по мысли Петра I, учрежденная им гвардия представляла собой отборные образцовые части, которые служили своеобразной военной школой — в то время единственной для пехоты и кавалерии. В гвардейские полки должны были вступать на действительную службу солдатами дворянские юноши. Пятнадцатилетние «недоросли» проходили эту службу с «фундамента» и, только накопив в ней необходимые знания уставов и строевые навыки, получали унтер-офицерский чин, дававший право на производство в офицеры армейских полков. Однако, начиная с царствования Анны Иоанновны, дворяне находили различные способы обойти этот тягостный для них закон. Во второй половине XVIII века, когда обязательная военная служба для дворян была отменена, но иметь офицерский чин было необходимо, чтобы занимать какое-то положение в обществе, установился обычай еще младенцами заносить дворянских сыновей в списки гвардейских полков. Таким образом, к пятнадцати-шестнадцати годам у них уже было «прослужено» столько лет, сколько требовалось для производства в офицеры, после чего, при желании, всегда можно было выйти в отставку.

Конечно, чтобы быть записанным в службу с детства, да еще в гвардию, нужно было иметь влиятельного покровителя — «милостивца», как тогда говорили. Вспомните приведенный Пушкиным в начале повести «Капитанская дочка» рассказ о такой записи прямо в гвардию сержантом еще бывшего «в чреве матери» Петруши Гринева. Тут же сказано, что запись эта была сделана «по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника». Удивительно ли, когда отец шестнадцатилетнего Петруши решает отправить его на действительную службу, то герой повести не сомневается, что в Петербурге его ждет при-

вольная жизнь гвардейского офицера: ведь он уже столько лет числится сержантом гвардейского Семеновского полка и, конечно, вскоре по приезде в столицу при помощи того же князя Б. будет произведен в прапорщики гвардии. Однако суровый отец решает иначе: «Чему научится он, служа в Петербурге? Мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху...» И Петруша отправляется в Оренбургский край, где вскоре получает чин армейского прапорщика.

Мы уже говорили, что среди генералов — участников Отечественной войны, чьи портреты помещены в галерее, восемьдесят пять человек были выпущены из унтер-офицеров гвардии офицерами в армию, причем некоторые из них в очень раннем возрасте: так, граф А. И. Кутайсов получил чин армии капитана в двенадцать лет, К. И. Бистром — в четырнадцать, И. В. Сабанеев — в шестнадцать, барон А. В. Розен — в семнадцать и т. д. Таким образом, юнец, только что расставшийся с классной комнатой и гувернерами, сразу приравнивался к заслуженным в боях армейским ротным командирам.

Но еще быстрее делали карьеру те, кто проходил службу в гвардии и после производства в офицеры. Они постоянно были на виду у двора, не только на разводах и парадах, но на балах и в гостиных, успех в которых заменял иногда воинские доблести. Разумеется, и в этом случае быстрому продвижению по службе немало содействовали знатные и влиятельные родственники или иные связи в «высшем свете». Не случайно среди семидесяти четырех генералов, прослуживших всю жизнь в гвардии или перешедших в армию только для командования полками, бригадами и дивизиями (нередко, чтобы доходами с них поправить свои пошатнувшиеся дела), мы находим самых молодых генералов, представителей наиболее родовитых

дворянских фамилий: Бахметевых, Бороздиных, Васильчиковых, Вельяминовых, Волконских, Воронцовых, Голицыных, Горчаковых, Левашовых, Олсуфьевых, Талызиных, Чернышевых, Чичериных, Шуваловых.

Существовала еще одна категория генералов — те, кто проходил всю службу в армейских частях; их — пятьдесят пять человек.

Правда, и среди армейцев были счастливцы, которым «ворожила» влиятельная родня, записывая их хотя и в армейские полки, но также почти что с пеленок. Однако таких — единицы. Большинство долгие годы тянуло нелегкую унтер-офицерскую лямку. Когда же наконец приходило производство в офицеры, жизнь такого служаки отнюдь не становилась похожей на праздник. Очень трудно было, достойно поддерживая «честь мундира», существовать на одно офицерское жалованье. В начале XIX века прапорщик получал всего двести рублей в год, капитан — триста сорок, полковник — девятьсот. Армейские полки участвовали в непрерывных войнах и постоянно маршировали с одних границ на другие. Правда, за убылью в боях производство в младшие чины шло довольно быстро, но выше майора и подполковника продвигались лишь отчаянные храбрецы и редкие счастливцы. Какие подвиги ни совершай армейский служака, а получить в командование полк ему вряд ли удастся, если это место пожелает занять переведенный из гвардии молодой, не нюхавший пороха офицер. Ведь за гвардейцем стоит влиятельная родня, и армейское начальство постарается оказать ей услугу, ожидая от этой родни поддержки в своем продвижении по службе. Вспомним типичных армейских офицеров из «Войны и мира» Толстого — доблестных, скромных и весьма немолодых капитана Тушина и майора Тимохина. И если такому офицеру все же удавалось дослужиться

до генерал-майорского чина (жалованье — 2 тысячи рублей в год), то выше командира бригады он редко поднимался по служебной лестнице.

Как на пример такого счастливого варианта служебного пути армейского офицера можно сослаться на биографию генерала В. В. Ешина. В корнеты (младший офицерский чин в кавалерии) его произвели только после семи лет службы унтер-офицером. А когда в чине штаб-ротмистра в награду за редкую храбрость, проявленную в боях 1805 года, его перевели в гвардию, он через два года попросил о возвращении в армейский полк. Служба в блестящем, расквартированном в столице полку оказалась не по средствам офицеру, ничего не имевшему, кроме жалованья. В генерал-майоры Ешина произвели только в 1813 году, в разгар боевых действий, в которых он неизменно отличался храбростью и распорядительностью. В то время ему шел сорок второй год, и служил он уже двадцать пять с лишним лет. В чине генерал-майора доблестный кавалерист и умер через двенадцать лет, пробыв в должности командира бригады восемь лет и только за четыре года до смерти получив наконец дивизию.

Таков же примерно служебный путь и одного из героев Бородинского сражения П. Г. Лихачева, тяжело раненного в рукопашной схватке на батарее Раевского. Двенадцать лет пробыл он армейским унтер-офицером и еще четырнадцать лет провел почти сплошь в боях и походах, продвигаясь от чина прапорщика до генерал-майора.

Будущий фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли проходил путь от корнета до генерала двадцать один год, много раз отличившись за это время в кампаниях против турок, шведов и поляков. Такая медлительность в производстве объясняется тем, что перед нами не родовитые дворяне, богачи, располагавшие связями и

протекцией, а дети мелкопоместных или совсем беспоместных дворян или отставных офицеров в небольших чинах.

Но они, хотя и захудалые, владеющие порой всего лишь десятком крепостных душ, все же дворяне. И только в одном послужном списке генерала, участника боев 1812—1813 годов, мы читаем: «...из солдатских детей». Речь идет о генерал-майоре Ф. А. Лукове.

Наконец, были в числе русских военачальников тех лет люди, начавшие службу в иностранных армиях и принятые в русские войска уже офицерами, порой немалого чина. Известно, как гостеприимно встречали в России при Екатерине II и Александре I иностранных дворян, особенно с громким именем. В числе тридцати человек, перешедших из иностранной службы и бывших в 1812—1814 годах генералами, восемнадцать носили титулы принцев, герцогов, графов, маркизов и баронов. Из них пять были французами, эмигрировавшими в Россию после Великой французской революции 1789—1794 годов, шесть офицеров перешли из прусской и польской службы, остальные — голландцы, ганноверцы, датчане, саксонцы, австрийцы, гессенцы, неаполитанцы, венецианцы, сардинцы, корсиканцы. Многие из них, как граф Ланжерон, прослужив в русских войсках десятки лет, так и не выучились говорить по-русски; другие, как граф Беннигсен, так и не приняли русского подданства.

Небезынтересно отметить, как замысловато составлялись записи в формулярных списках о происхождении некоторых лиц с иноземными фамилиями, с детских лет являвшихся русскими подданными. Так, об убитом под Смоленском генерале А. А. Скалоне сказано: «французской нации из шляхетства, уроженец российский, принявший присягу на подданство, лютеранского закона»; о генерале Паттоне кратко — «ав-

стрийской нации»; о бароне Левенштерне — «уроженец виртемберг-штутгартский»; о генерале Росси — «итальянского шляхетства штаб-офицерский сын»; о бароне Дука — «сербской нации из дворян, уроженец города Анкона».

Таковы самые общие сведения о происхождении, военной подготовке и службе тех генералов, чьи портреты находятся в Военной галерее Зимнего дворца.

Отвечая на постоянный вопрос посетителей Эрмитажа, хочется сообщить, что если участником декабристского тайного общества из числа генералов, чьи портреты мы видим в галерее, был один С. Г. Волконский [1], то среди осужденных декабристов находилось пятеро сыновей генералов, как на подбор доблестно сражавшихся с войсками Наполеона. Однако изображения только двоих — П. П. Коновницына и С. Е. Гангеблова — нашли место в галерее. Своим помещением сюда при Николае I оба портрета, вернее всего, обязаны незначительной роли, которую сыновья Коновницына и Гангеблова сыграли в событиях 1825 года.

Портретов же генералов Булатова, Ивашева и Сутгофа, чьи сыновья были заметными деятелями военного заговора против самодержавия, в галерее нет, и нам кажется справедливым кратко упомянуть о боевой службе этих достойных представителей русского генералитета.

Старший из них — Михаил Леонтьевич Булатов (1760—1825). Он начал службу, как многие дворяне среднего достатка, 15-летним рядовым гвардейского Измайловского полка и, пройдя унтер-офицерские чины, 20 лет выпущен поручиком в армейскую пехоту. Образование в формулярном списке обозначено весьма скромно: «Российской грамоте и читать, математике

---

[1] М. Ф. Орлов и М. А. Фонвизин получили генеральские чины уже после окончания военных действий.

теоретической и практической знает». Начиная с 1783 года Булатов участвовал в боевых действиях на Кавказе и берегах Дуная, то в строю, то состоя квартирмейстером в армии Потемкина, строил батареи под Измаилом и штурмовал эту крепость, за что отмечен был самим Суворовым. Не раз его командировали для снятия карт, в частности, пограничных с Пруссией местностей и берегов Финского залива; видимо, под практической математикой и подразумевались примитивные картографические работы. Тридцати девяти лет от роду Булатов произведен в генерал-майоры и в 1808 году, будучи шефом Могилевского пехотного полка, направлен в Финляндию, где в составе дивизии Н. А. Тучкова (Тучкова 1-го) участвовал в ряде боев, проявив свою обычную храбрость. Но, 15 апреля откомандированный от дивизии с отрядом, состоявшим из трех батальонов различных пехотных полков, полуэскадрона гусар, сотни казаков, имевший в своем распоряжении несколько пушек, Булатов был атакован у Револакса вчетверо сильнейшим отрядом шведского генерала Кронштедта. После жаркого боя, дав последний залп из орудий, генерал приказал остаткам своих батальонов пробиваться из окружения штыками. В это время он был ранен сразу тремя пулями, упал с коня и очнулся в плену. Перенеся в Стокгольме тяжелую операцию — пуля угодила близ сердца, Булатов через год был отпущен из плена, оправдан военным судом и вскоре командирован в молдавскую армию. Здесь, командуя авангардом, он взял штурмом Исакчу, Тульчу и занял Бабадаг. Под командованием Прозоровского, Багратиона, Каменского и Кутузова генерал Булатов в течение трех лет участвовал в сражениях под Рассеватом, Татарицей, Рущуком и получил ряд боевых орденов — Анны I степени, Георгия III степени, Владимира II степени и золотую шпагу «За храбрость». В июле 1812 года корпус Булатова был

двинут на запад, он участвовал в Отечественной войне, в разгроме саксонских и польских частей при Кладове, Горностаеве, Волковыске; в 1813—1814 годах отличился Булатов в боях под Дрезденом и при осаде Гамбурга, причем снова дважды был тяжело ранен. За свою боевую службу генерал Булатов получил двадцать восемь ранений.

По окончании войны с Францией Булатов командовал войсками в Бессарабии. В 1823 году произведен в генерал-лейтенанты, а в 1824 году назначен генерал-губернатором Западной Сибири. Скоропостижно скончался в Омске в мае 1825 года.

Архив сохранил свидетельство, связанное с историей создания Военной галереи, подтверждающее бесцеремонное, граничащее с грубостью отношение штабных чиновников к некоторым генералам, в частности, к Михаилу Леонтьевичу Булатову.

Приехав в Петербург по делам службы в начале 1823 года, он подал рапорт в Инспекторский департамент, ссылаясь на статью в «Русском инвалиде» и прося дать ему возможность безотлагательно быть написанным Доу, так как вскоре обязан был уехать из столицы к месту службы. На эту, казалось бы, столь естественную просьбу заслуженный шестидесятитрехлетний воин получил ответ, гласивший: «Портреты пишутся с тех только из господ генералов, участвовавших в прошедшую с французами войну, о коих воспоследует на то особое высочайшее повеление, но о вашем превосходительстве такового еще не было».

Второй по возрасту — генерал-майор Петр Никифорович Ивашев (1767—1838). Начало его военной службы типично для богатого дворянина конца XVIII века, обладавшего хорошими связями в столице. Восьми лет от роду Ивашев записан прямо сержантом в гвардейский Преображенский полк и двадцати лет выпущен ротмистром в Полтавский легкоконный полк.

Юноша был для своего времени хорошо образован, по формулярному списку он знал кроме русского «французский и немецкий языки, геометрию, архитектуру гражданскую и военную и рисование». Помимо строевых обязанностей, освоенных с отличием при штурме Очакова, Ивашеву довелось скоро узнать и саперную службу — заготовлять фашины, штурмовые лестницы и устраивать бреш-батареи для штурма Измаила, при котором он снова отличился храбростью и был ранен. Деятельный, толковый и отважный молодой офицер расположил к себе Суворова и быстро по его представлению получил чины секунд- и премьер-майора, в 1794 году — подполковника, в 1795 году — полковника. Ивашев успешно исполнял хлопотливую должность генерал-квартирмейстера штаба Суворова и тридцати одного года от роду, в 1798 году, произведен в генерал-майоры. Вскоре вышел в отставку «по приключившейся болезни».

Вероятно, именно в ближайшие после этого годы Ивашев написал обширные поправки к сочинению Антинга о Суворове, которые поручил ему сделать сам великий полководец. В 1807 году Ивашев избран начальником губернской милиции (ополчения), которую успешно и быстро сформировал, за что награжден орденом Анны II степени. В 1811 году Ивашев вновь поступил на службу. На этот раз он становится начальником 8-го округа путей сообщения, в который входили губернии Эстляндская, Курляндская, Лифляндская, Виленская, Минская, Могилевская, Смоленская и Псковская, то есть почти вся территория будущего вторжения в Россию армий Наполеона. Естественно, что при начале военных действий Ивашева назначили директором военных сообщений действующей армии. Ему подчинялись пять пионерных, одна минная рота, а также три тысячи ратников ополчения, используемых как рабочая сила. Они возводили земляные ук-

репления, наводили, а затем разрушали мосты, исправляли дороги. В формуляре Ивашева отмечено участие в боях при Витебске, Островне, Смоленске. За бесстрашие, проявленное в Бородинском сражении, он награжден орденом Анны I степени. К бою при Тарутине под руководством генерала подготавливались пути для ночного продвижения русских войск, и во время боя он направлял по ним колонны и устанавливал на позициях артиллерию. «Потом при напорном быстром движении армии на отступавшего неприятеля,— читаем в формулярном списке Ивашева,—вслед приготовлял пути и переправы через лежащие там реки, через Днепр и Березину». Участвовал он в боях при Малоярославце и под Красным, а «в 1813 году, занимаясь тою же должностью, был в сражениях при Люцене, Бауцене... и при взятии города Пирны, в сражении под Дрезденом и Кульмом. В 1814 году при блокаде крепости Гамбурга и при занятии оной российскими войсками».

Пятидесяти лет от роду, в 1817 году, Ивашев вновь вышел в отставку и навсегда поселился поблизости от Симбирска в своем поместье. Здесь он деятельно занялся сельским хозяйством, с редкостной по тому времени гуманностью относясь к крепостным крестьянам. Несомненно, характер просвещенного отца повлиял на мировоззрение его единственного сына — декабриста Василия Петровича Ивашева.

Всего на год моложе Ивашева был отец декабриста Александра Николаевича Сутгофа, сыгравшего весьма видную роль в событии 14 декабря на Сенатской площади. Генерал-майор Николай Иванович Сутгоф, или Сутгов, как сам он подписывался, был человеком скромного происхождения, возможно не из дворянского сословия, так как в формулярном списке значится: «Из чиновников Великого княжества Финляндского». Пятнадцати лет Сутгофа зачислили на статскую службу канцелярским чиновником, но через три года он

перешел на военную в чине поручика 4-го Финляндского егерского батальона. За отличие в войне со шведами 1788—1789 годов был переведен в лейб-гренадерский полк (тогда еще не гвардейский), здесь дослужился до чина полковника и был назначен командиром Воронежского мушкетерского полка, вскоре переименованного в 37-й егерский. Во главе этой части Сутгоф сражался с 1808 по 1811 год с турками. В его формуляре названы бои под Гирсовом, Бабадагом, Рассеватом, Силистрией, Татарицей, Браиловом, Шумлой, Рущуком, участие в них отмечено орденами Георгия и Владимира IV степени. Из этих кампаний Сутгоф выходит невредимым, но, перейдя с Дуная на западную границу, где первоначально сражается с поляками и саксонцами, а затем с французами, получает несколько ран: при Кацбахе — легкую в грудь, при Лейпциге — ружейной пулей в правую ногу и картечью в левую. За кампании 1812 и 1813 годов полковник награжден золотой шпагой «За храбрость», орденами Владимира III степени и прусским «Pour le merite».

2 февраля 1814 года Александр I подписывает указ о производстве Сутгофа в генерал-майоры. В тот же самый день 8-я русская пехотная дивизия, приданная к армии прусского фельдмаршала Блюхера, не подозревавшего о близости Наполеона с его главными силами, подвергается нежданному нападению французов, и в бою у селения Монмери полковник Сутгоф был ранен саблей в голову и взят в плен. Однако победы над частями армии Блюхера 30 января — 3 февраля не изменили судьбы Наполеона. 18 марта русские и их союзники берут штурмом Париж, и вскоре освобожденный из плена Сутгоф узнает, что вот уже два месяца, как он произведен в генерал-майоры. 8-я пехотная дивизия возвращается на родину, в августе устраивается на квартирах в Польше, а в апреле 1815 года вновь отправляется в поход во Францию. Напо-

леон бежал с острова Эльбы, и 3 июня 1815 года бригада Сутгофа переходит французскую границу, опоздав, впрочем, к бою под Ватерлоо. Дивизия участвует в блокаде крепости Метц и в августе трогается снова в поход, уже на постоянные квартиры в местечко Короп Черниговской губернии.

Роковой для Сутгофа 1825 год застал его в Москве командиром бригады в одной из дивизий 5-го пехотного корпуса. Единственный сын делал, казалось, такую удачную карьеру — в двадцать четыре года поручик гвардии и командует ротой. И вдруг известие о событиях 14 декабря... Осужденный и приговоренный к пожизненным каторжным работам бывший гвардейский поручик, закованный в кандалы, отправлен в Сибирь, а его отец после долгих и унизительных хлопот получает место коменданта в Гельсингфорсе. Весьма вероятно, что этому назначению помогло записанное в его формуляре знание языков «российского, французского, немецкого, шведского и финляндского».

Портрета генерала Сутгофа найти не удалось, как не удалось установить и даты его смерти. Известно только, что из «числящихся по армии» приказом Николая I он уволен 4 января 1834 года.

Наконец, следует упомянуть о генерал-лейтенанте князе Александре Васильевиче Сибирском. Его имя фигурирует в двух известных нам архивных документах — в списке портретов, заказанных Д. Доу, составленном в августе 1826 года, и во втором, составленном, очевидно, архитектором К. И. Росси на те портреты, которые еще не получены от живописца, но уже размечены — где именно, в каком ряду и порядке они должны быть помещены в галерее.

В последнем списке 106 портретов, 105 из которых налицо в виде полотен или затянутых шелком пустых рамок с подписанными чинами, инициалами и фамилиями. Не хватает только одного — генерал-лейтенан-

та А. В. Сибирского. Кто же мог его вычеркнуть из списка, исключить из числа достойных помещения в этом своеобразном пантеоне русской военной славы? Очевидно, только Николай I.

Но за какие грехи могла постигнуть Сибирского такая кара? Собранные нами сведения говорят прежде всего о честной боевой дороге. Вот она в самых кратких чертах. Родился в 1779 году и, будучи сыном генерала, записан при рождении унтер-офицером в гвардейский Преображенский полк. Действительная служба началась для родовитого юноши [1] в шестнадцать лет в чине майора Черноморского гренадерского корпуса. Девятнадцати лет он — подполковник, двадцати одного года — полковник, а в двадцать четыре — командир Нарвского мушкетерского полка, во главе которого впервые попадает в огонь сражений в 1805 году под Кремсом и Аустерлицем, где получил разом три ранения. В 1808—1809 годах Сибирский сражался в Финляндии со шведами при Кухайоках, Оровайсе, Торнео и за отличие в последнем бою произведен в генерал-майоры. Тогда же назначен шефом Могилевского пехотного полка вместо генерала Булатова.

В корпусе Витгенштейна, прикрывавшем от французов пути к Петербургу, Сибирский встретил войну 1812 года. Со своим полком он участвовал в боях при Клястицах, Свольне, Полоцке, во второй раз при Полоцке и на Березине. В 1813 году сражался при Люцене, Бауцене и Рейхенбахе, где был тяжело ранен в правую руку и в бок, после чего отправлен на излечение в Варшаву. За последние кампании Сибирский награжден орденами Георгия III степени, Анны I степени и алмазами к золотой шпаге «За храбрость», полученной раньше.

[1] *Князья Сибирские* — прямые потомки последнего сибирского царя Кучума.

Окончилась война, началась мирная строевая служба. С 1822 года Сибирский — начальник 18-й пехотной дивизии на юго-западе России. Не здесь ли следует искать причины гнева на него императора Николая? Собранные нами свидетельства современников сообщают, что 18-я дивизия на смотру осенью 1823 года оценена Александром I как отменно хорошая в строевом отношении и что особенно отличился Вятский пехотный полк, глядя на эволюции которого, царь — великий знаток фронтовой выучки — воскликнул: «Превосходно! Совсем как гвардия!» — и пожаловал командиру полка три тысячи десятин земли. Также отличал и хвалил этого полкового командира в своих дошедших до нас приказах и начальник дивизии. А полковник был не кто иной, как Павел Иванович Пестель — вождь Южного тайного общества, арестованный в своей квартире в местечке Линцы 14 декабря 1825 года. В этом же полку служил член тайного общества майор Н. И. Лорер, арестованный в Тульчине 23 декабря. А другим полком той же дивизии — Казанским — командовал также член тайного общества полковник П. В. Аврамов, арестованный 19 декабря. Пестель через полгода будет приговорен к смерти, двое других — к двенадцати годам каторги каждый.

И вот что интересно отметить. Вслед за их арестом от начальника дивизии затребовали формулярные списки, которые были отправлены в Петербург и сохранились в следственных делах декабристов.

Конечно, 1 января 1826 года, которым датированы списки, Сибирский уже знал, как и все его окружавшие, о восстании 14 декабря в Петербурге и об аресте многих офицеров-заговорщиков. Последней графой формулярных списков стоял вопрос: «К повышению достоин или зачем не аттестован?» Другие генералы, которые в эти тревожные дни заполняли формуляры своих арестованных подчиненных, оставляли

этот вопрос без ответа, а то начисто опускали, не вводя его в график формуляра, или, наконец, писали: «По высочайшему повелению в заключении находится». А князь Сибирский заверил своей подписью во всех трех формулярах четко выведенное «достоин», хотя, конечно, понимал, что это слово сейчас мало уместно: как же достоин, когда арестован, взят под конвой и заточен в Петербурге в крепость как государственный преступник!..

Видимо, Николай I знал отношение генерала к Пестелю, Аврамову, Лореру, царь не простил ему давних похвал «образцовому» командиру Вятского полка и слов «достоин» в формулярах арестованных...

* * *

О том, какое впечатление производила галерея на современников, существует немало свидетельств в русской журнальной и мемуарной литературе 1820—1830-х годов. Но, вступая в галерею, каждый прежде всего вспоминает первые строфы прекрасного стихотворения Пушкина «Полководец»:

У русского царя в чертогах есть палата:
Она не золотом, не бархатом богата;
Не в ней алмаз венца хранится за стеклом;
Но сверху донизу, во всю длину, кругом,
Своею кистию свободной и широкой
Ее разрисовал художник быстроокой.
Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн,
Ни фавнов с чашами, ни полногрудых жен,
Ни плясок, ни охот, а все плащи, да шпаги,
Да лица, полные воинственной отваги.
Толпою тесною художник поместил
Сюда начальников народных наших сил,
Покрытых славою чудесного похода
И вечной памятью Двенадцатого года.
Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики.

Из них уж многих нет; другие, коих лики
Еще так молоды на ярком полотне,
Уже состарились и никнут в тишине
Главою лавровой...

Эти строки вводят в галерею вместе с нами тень великого поэта.

Вполне естественно, что Военная галерея привлекала внимание Пушкина более других памятников Отечественной войны, воздвигавшихся в его время. Она являлась широко задуманным и талантливо выполненным памятником русским военачальникам — от командира бригады до главнокомандующего, а в их лице — русскому военному искусству и всему воинству российскому, которое Пушкин высоко почитал, подвигами которого он гордился.

Объединенные в 1812—1814 годах мощным патриотическим порывом, оригиналы портретов не были, однако, схожи по пройденному ими жизненному пути.

На портретах Военной галереи запечатлено огромное разнообразие лиц, носивших на себе отпечаток старческой мудрости, воинской гордости, беззаветной смелости, боевого азарта или сословного чванства, придворной интриги, изнеженного сибаритства, тупой фрунтомании.

Здесь представлялось самое широкое поле для размышлений такому пытливому наблюдателю, каким был Пушкин. Его, тонкого физиономиста и психолога, должно было привлекать это огромное собрание остро схваченных и превосходно написанных художественных характеристик. Недаром поэт пишет: «Нередко медленно меж ими я брожу...» А в одном из первоначальных вариантов этой строфы читаем: «И часто, в тишине, меж ими я брожу...»

Когда же, в какие именно годы, при каких обстоятельствах бывал здесь Пушкин? Этот вопрос, естест-

венно, задают себе многие посетители, придя в галерею и вспоминая стихи великого поэта.

Мы знаем, что Пушкин впервые посетил галерею не ранее июня — июля 1827 года, когда приехал в Петербург после восьмилетней ссылки на юг России и в Псковскую губернию. В это время галерея являлась одной из новостей и достопримечательностей столицы, о ней много писали и говорили, осмотреть ее, этот памятник военной славы и портретного искусства, стремились приезжие.

Косвенное указание на то, что Пушкин в 1827—1828 годах познакомился с портретами Военной галереи, мы находим в первой главе «Путешествия в Арзрум», где, рассказывая о свидании с генералом Ермоловым в Орле, поэт говорит, что он «разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом».

Вдохновенное описание Военной галереи в стихотворении «Полководец» противопоставлено описанию других дворцовых залов и, главным образом, галерее Эрмитажа, и это не случайно. Мы знаем, что рядом с Зимним дворцом, в так называемом Шепелевском доме, много лет жил В. А. Жуковский, у которого постоянно бывал Пушкин. Вместе с Жуковским поэт мог через эрмитажные залы, выходившие на Неву, и так называемый Ламотов павильон по внутренним переходам пройти в Зимний дворец и посетить Военную галерею. При этом Пушкин, естественно, ощущал контраст в убранстве только что пройденных залов с несколько суровым, воинским характером портретной Галереи деятелей 1812 года.

Кроме того, Пушкин часто бывал и в самом Зимнем дворце, у своей близкой приятельницы, фрейлины А. О. Россет, позже, по мужу, Смирновой, «черноокой Россети». До выхода замуж в 1832 году она жила в фрейлинских комнатах третьего этажа, выходивших на Дворцовую площадь. Здесь, у А. О. Россет, часто

собирался кружок близких Пушкину людей, главным образом литераторов, состоявший из В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, В. Ф. Одоевского, М. Ю. Виельгорского и других. Пушкин мог и в обществе Россет посетить Военную галерею и другие залы дворца и Эрмитажа, это разрешалось во время отсутствия царя, в периоды, когда Николай I с семьей жил в Аничковом дворце.

Несомненно, однако, что особенно часто поэту пришлось бывать в Зимнем дворце с начала 1834 года, с того времени, когда Николай I «пожаловал» его камер-юнкером своего двора. Как ни тяготился Пушкин этим званием, как ни уклонялся от исполнения несносных ему обязанностей придворного, он не раз должен был появляться здесь облаченным в камер-юнкерский мундир, рядом со своей красавицей-женой, на различных церемониях — выходах, приемах, богослужениях, балах. Один из близких друзей поэта, А. И. Тургенев, так описывает в письме от 7 декабря 1836 года свое посещение Зимнего дворца в день именин Николая I: «Я был во дворце с 10 часов до $3^1/_2$ и был поражен великолепием двора, дворца и костюмов военных и дамских, нашел много апартаментов новых и в прекрасном вкусе отделанных. Пение в церкви восхитительное. Я не знал, слушать или смотреть на Пушкину и ей подобных. Но много ли их? Жена умного поэта и убранством затмевала других». Можно сказать с уверенностью, что и Пушкин был в этот день во дворце. По условиям тогдашнего этикета жена вряд ли могла без него появляться в дворцовой церкви. И так, конечно, бывало не один раз.

Во внешне блестящей и корректной, но внутренне чуждой и враждебной ему придворной среде Пушкин чувствовал себя тяжело и одиноко. Это ощущение личного одиночества и чуждости окружающему художественно преломилось в написанном в 1835 году

стихотворении «Полководец», посвященном портрету Барклая-де-Толли, одному из лучших в галерее.

Мы можем представить себе, как во время торжественного богослужения в дворцовом соборе Пушкин, оставив жену тщеславно красоваться своим туалетом на фоне придворных мундиров и затейливых завитков церковной позолоты, один проходит в расположенную рядом Военную галерею. Он медленно идет вдоль линии портретов, скупо освещенных из верхних окон серым отблеском зимнего петербургского дня. Доносятся приглушенные звуки песнопений из собора. Неподвижно застыли у дверей Георгиевского тронного зала часовые гренадеры. Одинокая фигура величайшего русского поэта движется по галерее, он всматривается в «лица, полные воинственной отваги». Взгляд его сосредоточен, он творит. Складываются строки о тяжком одиночестве в чуждой толпе:

О люди! жалкий род, достойный слез и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век...

Именно здесь, в галерее, живет до сих пор образ Пушкина. Здесь он сопровождает каждого посетителя, который, войдя сюда, вспоминает:

Нередко медленно меж ими я брожу
И на знакомые их образы гляжу,
И, мнится, слышу их воинственные клики...

Пушкину было уже 13 лет, он кончал свой первый учебный год в Царскосельском лицее, когда началось нашествие полчищ Наполеона на Россию. Пытливый подросток внимательно вглядывался в происходящее. Вот как описывает это время лицейский товарищ Пушкина, близкий друг его, будущий декабрист И. И. Пущин: «Жизнь наша лицейская сливается с политической эпохой народной жизни русской: приготовлялась

гроза 1812 года. Это событие сильно отозвалось на нашем детстве. Началось с того, что мы провожали все гвардейские полки, потому что они проходили мимо самого Лицея; мы всегда были тут, при их появлении выходили даже во время классов, напутствовали воинов сердечной молитвой, обнимались с родными и знакомыми; усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом. Не одна слеза тут пролита... Когда начались военные действия, всякое воскресенье кто-нибудь из родных привозил реляции; Кошанский[1] читал их нам громогласно в зале. Газетная комната никогда не была пуста в часы, свободные от классов; читались наперерыв русские и иностранные журналы, при неумолкаемых толках и прениях; всему живо сочувствовали у нас, опасения сменялись восторгами при малейшем проблеске к лучшему. Профессора приходили к нам и научали нас следить за ходом дел и событий, объясняя иное, нам непонятное».

Так было в дни войны, в отрочестве Пушкина. Но и дальше, в молодости и зрелости, поэт постоянно интересовался 1812 годом, думал и писал о нем. Как лишь немногие, наиболее зрелые, современники, понимал он всемирное значение героической борьбы русского народа с захватчиками-французами,— борьбы, ценою крови наших воинов избавившей не только Россию от угрозы чужеземного владычества, но вслед за тем сыгравшей огромную роль в освобождении народов Европы от ига Наполеона.

Пушкин ясно понимал и тесную связь этой великой эпопеи со всем последующим периодом политической истории России. Недаром передовые современники поэта делили свою жизнь на две резко различные части — до 1812 года и после него. Победы над не

---

[1] *Кошанский* — профессор русской и латинской словесности в Лицее.

знавшим до того поражений врагом обусловили огромный подъем русского национального самосознания. Народ-победитель понял, какие великие дела он может совершать, и вслед за тем с особой остротой почувствовал несправедливость и отсталость политического строя крепостнической России. Мы знаем, что декабристы, к мировоззрению которых так близок был Пушкин, называли себя «детьми 1812 года».

Несомненно, что духовное развитие великого поэта было в значительной мере обусловлено пережитым его родиной в 1812 году. Гордое сознание могучей духовной силы своего народа, свойственное Пушкину, не могло быть столь полным без великих испытаний и побед Отечественной войны.

Интерес Пушкина к 1812 году непрерывно поддерживался тем, что он видел и слышал. Россия в 20-х и 30-х годах XIX века изобиловала воспоминаниями о великих событиях, напоминала о них и постепенно отстраивавшаяся Москва, сожженная в 1812 году.

Многочисленны были также непосредственные участники Отечественной войны, с которыми общался Пушкин. Вспомним, что среди его друзей и хороших знакомых были служившие офицерами в 1812—1814 годах Каверин, Чаадаев, Батюшков, братья Раевские и Давыдовы, Катенин, Ф. Глинка, Ф. Толстой, Кривцов, М. Орлов, Перовский и другие, что такие близкие поэту люди, как Жуковский и Вяземский, состояли в народном ополчении и участвовали в Бородинском бою.

Помимо этих постоянных собеседников Пушкина, из уст которых он, несомненно, слышал рассказы о различных событиях «вечной памяти Двенадцатого года», поэт встречал участников недавних сражений всюду, куда бы ни забросила его судьба. В Царском Селе и на Кавказских водах, в Кишиневе и в Одессе, в помещичьих усадьбах псковского захолустья, в Мо-

скве и в Петербурге, в лагере под Арзрумом, в Тифлисе и в Оренбурге, в любом обществе — в светской гостиной, в зале ресторации, за карточным столом и на почтовой станции,— везде встречал Пушкин людей, служивших под начальством Кутузова или Барклая, Кульнева или Раевского, Ермолова или Неверовского и готовых вспомнить о недавно прошедших годах, полных опасностей и славы. Кроме того, и в столицах и в отдаленнейших провинциях России очень распространены в то время были всевозможные, разнообразные по художественному достоинству, изображения побед 1812 года и еще чаще — портреты военачальников, в значительной части представлявшие собой живописные копии, гравюры и литографии со знакомых нам портретов «художника быстроокого», Д. Доу.

Пушкин особенно высоко ценил в человеке храбрость и всегда живо интересовался конкретными обстоятельствами совершенного подвига, всевозможными проявлениями самоотвержения и отваги. Один из современников, боевой офицер, пишет, что «Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту; он с особенным вниманием слушал рассказы о военных эпизодах: лицо его краснело и изображало жадность узнать какой-либо особенный случай самопожертвования; глаза его блистали и вдруг часто он задумывался». Естественно, что войны 1812—1814 годов, столь богатые примерами доблести русских генералов, офицеров, солдат, и с этой стороны неизменно занимали поэта.

Существует немало прямых указаний на то, с каким интересом Пушкин относился к воспоминаниям участников Отечественной войны. Юношей, в Царском Селе, он слушает рассказы лейб-гусарских офицеров и сам мечтает о бранной славе; в 1820—1821 годах в Кишиневе расспрашивает о Бородине и взятии Пари-

жа местного почтмейстера, отставного полковника Алексеева; в январе 1834 года мы застаем его в номере петербургской гостиницы Демута с увлечением беседующим с Н. Н. Раевским (сыном) и Граббе на те же темы, а летом 1836 года — последнего года жизни поэта — в той же гостинице — толкующим с участницей войны с французами «кавалерист-девицей» Дуровой об издании ее записок. Таких свидетельств постоянного интереса Пушкина к событиям Отечественной войны можно привести немало. Среди них будет, между прочим, и то, что материалы о борьбе России с Наполеоном присутствовали во всех четырех номерах «Современника», изданных Пушкиным.

Вспомним, сколько раз вставала в различные годы тема Отечественной войны в творчестве Пушкина. Не давая исчерпывающего перечня этих произведений, назовем: «Александру I», «Наполеон», «Воспоминания в Царском Селе» (1814 г.), главы VII и X «Евгения Онегина», «Клеветникам России», «Бородинская годовщина», «Метель», «Рославлев», «Записка о народном образовании», «19 октября» (1836 г.). И каждый раз та или иная сторона великих событий недавнего прошлого освещалась со свойственными Пушкину — не участнику, но свидетелю и историку — остротой, лаконизмом и мастерством.

Именно так в неоконченной повести «Рославлев» описаны настроения московского дворянского общества накануне войны с Наполеоном. Многочисленные модники, эгоисты и трусы резко меняют привычное восхваление всего французского на поверхностное и фальшивое восхищение всем русским и с громкой «патриотической» болтовней бегут в тыл. Ярко показал Пушкин подлинную любовь к России простого народа и передового дворянства, идущих защищать родину. В центре повествования стоит образ героической русской девушки, с волнением следящей за военными

событиями и готовой пробраться во вражеский стан и убить Наполеона, чтобы спасти свое отечество.

Пушкин справедливо считал, что сожжение Москвы ее жителями это одно из важнейших событий в кампании 1812 года. Великий подвиг народа волновал и трогал поэта. К нему он не раз возвращался в стихотворениях «Наполеон», «Клеветникам России» и в главе VII «Евгения Онегина», где, как бы вскользь упомянув подмосковный Петровский дворец, в котором, бежав из Кремля, Наполеон спасался от пожара, поэт, полный национальной гордости, дал картину несбывшихся надежд завоевателя:

Вот, окружен своей дубравой,
Петровский замок. Мрачно он
Недавнею гордится славой.
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля.
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою,
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.

А вот картина виденного в юности самим Пушкиным победоносного возвращения русских войск из похода, воспроизведенная в повести «Метель»:

«Между тем война со славой была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: «Vive Henri-quatre», тирольские вальсы и арии из Жоконды. Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав в бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собой, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга!

Как сильно билось русское сердце при слове *отечество!* Как сладки были слезы свидания!»

Наконец, двум ведущим полководцам Отечественной войны, фельдмаршалам М. И. Кутузову и М. Б. Барклаю-де-Толли, Пушкин посвятил стихотворения «Перед гробницею святой...» и «Полководец».

Первое из них особенно интересно как свидетельство почти благоговейного отношения великого поэта к памяти Михаила Илларионовича Кутузова и высокой оценки его полководческого таланта.

Обстоятельства, при которых писалось это стихотворение, таковы. Политическая обстановка весны и лета 1831 года была столь напряженна, что казалось в любую минуту возможным выступление Франции, почти открыто грозившей России войной. Демонстрировала свое недружелюбие и Англия. Положение особенно обострилось после ряда неудач русских войск, обусловленных бездарностью главнокомандующего Дибича и его помощников Толя и Нейгардта, что толковалось европейскими врагами как симптомы бессилия русской армии, с которой, им казалось, легко было бы справиться.

Пушкин с тревогой следил за усложнявшейся политической обстановкой. Ее разбору он уделял много места в письмах друзьям, и в одном из них, от 1 июня, читаем: «Того и гляди навяжется на нас Европа». Именно к этому времени относится рассказ одного из знакомых поэта о том, как, встретив Пушкина на прогулке, мрачного и встревоженного, он спросил: «Отчего невеселы, Александр Сергеевич?» И услышал в ответ: «Да все газеты читаю».— «Что ж такое?» — «Да разве вы не понимаете, что теперь время чуть ли не столь же грозное, как в 1812 году».

Невольно рождался вопрос, кто мог бы встать во главе русской армии в случае нападения Франции и достойно отразить его. Таких полководцев в рядах ар-

мии Николая I не было. Пушкин с горечью понимал это. Царского любимца Паскевича поэт знал слишком хорошо и трезво оценивал его ограниченные возможности. Многочисленные немцы были еще бездарнее и не пользовались доверием в стране и в армии.

В своих размышлениях Пушкин обращался к недавнему прошлому, схожему по политической обстановке и богатому столькими славными именами. При этом, естественно, прежде всех других вставал перед ним величественный образ М. И. Кутузова, искусного военачальника и крупного государственного деятеля.

В конце мая поэт посетил известную каждому ленинградцу гробницу великого полководца в Казанском соборе и вскоре после этого создает строфы проникновенного стихотворения:

Перед гробницею святой
Стою с поникшею главой...
Все спит кругом; одни лампады
Во мраке храма золотят
Столпов гранитные громады
И их знамен нависший ряд.

Под ними спит сей властелин,
Сей идол северных дружин,
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,
Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

В твоем гробу восторг живет!
Он русский глас нам издает;
Он нам твердит о той године,
Когда народной веры глас
Воззвал к святой твоей седине:
«Иди, спасай!» Ты встал — и спас...

Внемли ж и днесь наш верный глас,
Встань и спасай царя и нас,
О старец грозный! На мгновенье
Явись у двери гробовой,

Явись, вдохни восторг и рвенье
Полкам, оставленным тобой!

Явись и дланию своей
Нам укажи в толпе вождей,
Кто твой наследник, твой избранный!
Но храм — в молчанье погружен,
И тих твоей могилы бранной
Невозмутимый, вечный сон...

Следует отметить, что две последние строфы, говорящие о тревожных настроениях Пушкина в 1831 году, о его недоверии к военным сподвижникам Николая I, при жизни поэта не печатались. А предшествующие строфы стали известны широкой публике только в 1836 году, когда в связи с опубликованием стихотворения «Полководец» на Пушкина посыпались упреки в недооценке роли Кутузова в Отечественной войне. Тогда в 4-м томе издававшегося им журнала «Современник» поэт поместил «Объяснение», в котором раскрыл свое отношение к действиям покойного фельдмаршала и привел первые три строфы стихотворения «Перед гробницею святой...». В этом «Объяснении» читаем:

«Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: Спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно звучит русским звуком?

И мог ли Барклай-де-Толли совершить им начатое поприще? Мог ли он остановиться и предложить сражение у курганов Бородина? Мог ли он после ужасной битвы, *где равен был неравный спор*, отдать Москву Наполеону и стать в бездействии на равнинах Тарутинских? Нет! (Не говорю уже о превосходстве военного гения). Один Кутузов мог предложить Бородинское сражение; один Кутузов мог отдать Москву не-

приятелю, один Кутузов мог оставаться в этом мудром, деятельном бездействии, усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и выжидая роковой минуты: ибо Кутузов один облечен был в народную доверенность, которую так чудно он оправдал!..

Слава Кутузова не имеет нужды в похвале чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не может ни возвысить, ни унизить того, кто низложил Наполеона и вознес Россию на ту степень, на которой она явилась в 1813 году».

Мы видим, что в своем «Объяснении» Пушкин едва ли не первый в нашей литературе, задолго до Л. Н. Толстого, отметил «народную доверенность», которой пользовался в 1812 году Кутузов, подчеркнул, что он был подлинно народным военачальником, смело обрисовал его как гениального полководца.

Полководческий гений Кутузова проявился, разумеется, ярче всего в руководстве борьбой русского народа с полчищами французских захватчиков во время Отечественной войны. Но Пушкин, как и все современники, знал также и другие, более ранние, замечательные боевые дела Кутузова, подготовившие его к сложной и ответственной роли главнокомандующего всеми вооруженными силами России в 1812 году. Бывая в Военной галерее, смотря на портрет Кутузова, занимавший в ней, как и сейчас, одно из центральных мест, поэт, по всей вероятности, вспоминал наиболее прославившие седого полководца кампании 1805 и 1811 годов, когда Кутузов был поставлен в чрезвычайно трудные условия и оба раза разрешил задачу с удивительным искусством.

Так как эти кампании гораздо менее известны, чем деятельность Кутузова в Отечественную войну, мы вкратце напомним их читателю.

Осенью 1805 года на Кутузова было возложено командование армией, двигавшейся из России на помощь

союзникам-австрийцам. После двухмесячного форсированного марша, находясь уже в Баварии, Кутузов узнал, что группа австрийских войск, на соединение с которой он так спешил, без боя сдалась Наполеону. С 40 тысячами бойцов, составлявшими первый эшелон его армии, Кутузов оказался почти лицом к лицу со 160 тысячами солдат Наполеона. Французский полководец стремился как можно скорее раздавить изнуренные маршем, отягченные обозами и артиллерией русские войска. Чтобы соединиться со своим вторым эшелоном и австрийцами, бывшими также в тылу, Кутузов начал отступательный марш-маневр вдоль Дуная.

Французы шли по пятам, перебросив на другой берег реки корпус Мортье, который должен был воспрепятствовать переходу Кутузова через Дунай у городка Кремс. Блестящий арьергардный бой Багратиона у Амштеттена, расстроивший и остановивший передовые части французских войск, дал возможность Кутузову опередить врага на целый переход, оторвавшись от него, перейти Дунай у Кремса, уничтожить мост и обрушиться на подошедшего Мортье буквально на глазах взбешенного, но бессильного помочь своему маршалу Наполеона.

Казалось, теперь можно было спокойно двигаться к цели — следующий мост через Дунай находился в 100 километрах, у Вены, он охранялся отборными австрийскими частями и был минирован. Но французы овладели им хитростью, без боя, и Мюрат с тридцатитысячным авангардом устремился наперерез русским, продолжавшим свое движение.

У деревни Шенграбен Кутузов выставил пятитысячный отряд генерала Багратиона с заданием задержать врага. Мюрат, не зная, какие силы стоят перед ним, завязал переговоры о перемирии, искусно затянутые Кутузовым, уходившим все дальше. Приблизившийся с главными силами Наполеон понял, что Мю-

рата перехитрили, и бросил его на русский заслон. В течение целого дня Багратион героически бился с врагом, вшестеро превосходившим его численностью, вырвался из окружения и с трофеями в виде отбитого неприятельского знамени и 400 пленных через два дня присоединился к Кутузову, подходившему уже к Ольмюцу — месту сосредоточения русских и австрийских войск.

Блестящий марш-маневр был закончен. Кутузов прошел 425 километров, сохранив не только боеспособность армии, всю артиллерию и обозы, но еще нанеся врагу ряд тяжелых ударов. Действия Кутузова вызвали восхищение и удивление современников, французский маршал Мармон назвал движение от Браунау к Ольмюцу «классически-геройским».

В 1811 году перед Кутузовым была поставлена еще более сложная и ответственная задача. С 1806 года Россия вела войну с Турцией. Главнокомандующими на Дунае были последовательно генералы Михельсон, Каменский, Прозоровский и Багратион, не достигшие, однако, решительного успеха.

В мае 1811 года главнокомандующим был назначен Кутузов. В его распоряжении находилось всего 45 тысяч бойцов, разбросанных на тысячекилометровой линии Дуная, против 100 тысяч турок. Между тем обстоятельства требовали быстрого и полного разгрома неприятельской армии: явно назревало новое столкновение с Наполеоном, и сражавшиеся на Дунае дивизии были нужны на западной границе России. Прочный мир с Турцией обеспечил бы успех в борьбе с французами.

Быстро выработав оригинальный и смелый план действий, Кутузов сосредоточил свои войска в районе крепости Рущук, уничтожив ряд других укреплений, распылявших его незначительные силы. Искусными маневрами, соединенными с распространением ложных

сведений о своей слабости, русский главнокомандующий выманил турок из крепостей в поле, привлек их главные силы к Рущуку и здесь 5 июля нанес им жестокий удар, хотя располагал всего 15 тысячами бойцов против 60 тысяч врага. Ведение этого боя является образцом полководческого искусства, достойным специального изучения.

Однако после победы вместо преследования, ожидаемого обращенными в бегство турками, Кутузов простоял у Рущука три дня, взорвал его укрепления и переправился со своей армией на северный берег Дуная. Ободренные турки, решив, что силы русских истощены в сражении, усилили свою армию до 70 тысяч и вновь устремились к Рущуку. Здесь в количестве 50 тысяч они перешли реку вслед за Кутузовым, остальные силы должны были охранять продовольственную и военную базу на южном берегу. Этого и добивался русский полководец. Теперь он вновь перешел в наступление. Перебросив на турецкий берег корпус Маркова, он стремительной атакой завладел турецким лагерем-базой и взял под обстрел турецкими же пушками тыл армии великого визиря на северном берегу Дуная, тесня ее с фронта и прижимая к реке. Отрезанные от своих коммуникаций, лишенные продовольствия и боеприпасов, турки вскоре стали терпеть голод и лишения. 7 декабря 1811 года, через два месяца блокады войсками Кутузова, они капитулировали.

В мае 1812 года в Бухаресте, при активном участии русского полководца, был заключен мир, по которому Бессарабия освобождалась от турецкого ига и присоединялась к России. Уничтожение турецкой армии вырвало из рук Наполеона одну из козырных карт его игры. Он рассчитывал на союз с султаном при вторжении в Россию и пришел в бешенство, узнав о военном и дипломатическом успехе Кутузова.

Нам кажется несомненным, что обе эти прославленные кампании были хорошо известны Пушкину от многочисленных приятелей и знакомых, участвовавших в них. Вспомним хотя бы генерала И. Н. Инзова, столь частого собеседника поэта в 1820—1823 годах, одного из близких сподвижников Кутузова и в 1805 и 1811 годах. Вспомним, что в Кишиневе, столице Бессарабии, в годы жизни там Пушкина у всех на устах было имя Кутузова, которому эта область была обязана своим присоединением к России. И естественно думать, что не только 1812 год имел в виду великий поэт, когда говорил о «превосходстве военного гения» Кутузова над военным дарованием Барклая.

На портрете в Военной галерее Кутузов изображен в классической позе полководца, повелительным жестом направляющего русские войска преследовать по снежной равнине отступающие полчища Наполеона. В генеральском мундире и накинутой на одно плечо подбитой мехом шинели Кутузов стоит под оснеженной сосной — символом русской зимы. Седая голова не покрыта, рядом, на барабане, лежит мягкая фуражка-бескозырка. Старый фельдмаршал, трижды раненный в голову, избегал носить более тяжелые головные уборы.

Кутузов, изображенный Доу, несколько подмоложен, приглажен и упрощен. Нет характерной для 67-летнего военачальника не раз описанной и зарисованной в последние годы его жизни болезненной тучности немощного тела, в котором жил столь мужественный и деятельный дух. Нет и свойственной Кутузову спокойной проникновенной мудрости в выражении морщинистого лица, за которую солдаты в 1812 году звали дорогого и близкого им полководца «дедушкой».

Отметим, что в числе друзей великого поэта более 10 лет была любимая дочь М. И. Кутузова, вдова генерала и дипломата, Елизавета Михайловна Хитрово.

В семье Хитрово хранились многочисленные реликвии, связанные с памятью великого полководца, которые, несомненно, видел часто посещавший ее Пушкин. Среди этих предметов были, например, карманные часы фельдмаршала, которыми он пользовался в день Бородинской битвы. Вероятно, из уст своей приятельницы Пушкин слышал немало семейных преданий и рассказов о ее покойном отце.

Характеризуя отношения Е. М. Хитрово к ее друзьям, среди которых кроме Пушкина были Жуковский, Гоголь и другие, П. А. Вяземский писал: «В числе сердечных качеств, отличавших Е. М. Хитрово, едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий...»

После смерти Пушкина Е. М. Хитрово решительно стала в первые ряды защитников памяти поэта от великосветских нареканий, пересудов и поношений. Она горько оплакала своего знаменитого друга, в котором лишь очень немногие женщины ее общества видели славу и гордость России.

Перейдем теперь к стихотворению «Полководец», посвященному памяти Михаила Богдановича Барклая-де-Толли. Оно написано весной 1835 года под впечатлением портрета, находящегося в Военной галерее. Опуская уже приведенную нами часть, содержащую описание галереи, обратимся к строкам, относящимся непосредственно к Барклаю:

Но в сей толпе суровой
Один меня влечет всех больше. С думой новой
Всегда остановлюсь пред ним — и не свожу
С него моих очей. Чем долее гляжу,

Тем более томим я грустию тяжелой.
Он писан во весь рост. Чело, как череп голый,
Высоко лоснится, и, мнится, залегла
Там грусть великая. Кругом — густая мгла;
За ним — военный стан. Спокойный и угрюмый,
Он, кажется, глядит с презрительною думой.
Свою ли точно мысль художник обнажил,
Когда он таковым его изобразил,
Или невольное то было вдохновенье,—
Но Доу дал ему такое выраженье.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Всё в жертву ты принес земле тебе чужой.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчаньи шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоем звук чуждый невзлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.
И тот, чей острый ум тебя и постигал,
В угоду им тебя лукаво порицал...
И долго, укреплен могущим убежденьем,
Ты был неколебим пред общим заблужденьем;
И на полупути был должен наконец
Безмолвно уступить и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманный глубоко, —
И в полковых рядах сокрыться одиноко.
Там, устарелый вождь, как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти, —
Вотще!..

Поясняя свою точку зрения на положение Барклая-де-Толли в 1812 году, Пушкин писал в уже упомянутом «Объяснении»:

«Неужели должны мы быть неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому что Кутузов велик? Ужели, после двадцатипятилетнего безмолвия, поэзии не позволено произнести его имени с участием и умилением? Вы упрекаете стихотворца в несправедливости его жалоб; вы говорите, что заслуги Барклая были признаны, оценены, награждены. Так, но кем и

когда?.. Конечно, не народом и не в 1812 году. Минута, когда Барклай принужден был уступить начальство над войсками, была радостна для России, но тем не менее тяжела для его стоического сердца. Его отступление, которое ныне является ясным и необходимым действием, казалось вовсе не таковым: не только роптал народ ожесточенный и негодующий, но даже опытные воины горько упрекали его и почти в глаза называли изменником. Барклай, не внушающий доверенности войску, ему подвластному, окруженный враждою, язвимый злоречием, но убежденный в самого себя, молча идущий к сокровенной цели и уступающий власть, не успев оправдать себя перед глазами России, останется навсегда в истории высоко поэтическим лицом».

Мы видим, что, создавая «Полководца», поэт преследовал благородную цель реабилитации памяти давно умершего Барклая, о роли которого в 1812 году современная Пушкину печать начисто умалчивала. Единственная статья в «Московском телеграфе», опубликованная в 1833 году, выражавшая сходный с поэтом взгляд на деятельность незаслуженно забытого военачальника, навлекла на журнал неприятности со стороны цензуры и даже угрозу закрытия, о чем Пушкин, конечно, знал. Нужно было обладать большой самостоятельностью и смелостью во взгляде на историческую личность, чтобы выступить с этим стихотворением.

Однако, читая замечательное по мысли и форме стихотворение, мы ни на мгновение не должны забывать, что тема его — тяжкое одиночество в чуждой и враждебной толпе — отражала, как уже отмечалось выше, собственные мучительные ощущения великого поэта, как раз в эти годы тщетно стремившегося вырваться из петербургского «светского» окружения. В 1835—1836 годах одинокая фигура Барклая была осо-

бенно близка Пушкину. «Полководец» — одно из произведений великого поэта, в котором отчетливо звучат трагические ноты приближающейся катастрофы — неравного поединка Пушкина с враждебным ему миром, возглавляемым царем и шефом жандармов Бенкендорфом.

И можно ли, сохраняя объективность, сказать, что Россия была для Барклая «землей чужой»? Нам кажется — нет. Происходя из Лифляндии, будучи сыном боевого офицера русской службы, честный Барклай никогда не отделял себя от России, в его сознании даже в самые горькие минуты Россия не была «чужой» землей. Ей он служил, отдавая все свои способности, за нее сражался и проливал кровь, но и Россия вознаграждала его, отличала как немногих, кроме короткого периода лета и осени 1812 года, на что имелись особые, единственные в своем роде основания.

Служебный путь Барклая-де-Толли не совсем обычен. До полковничьего чина он шел более 20 лет, хотя, участвуя во многих кампаниях против турок, поляков, шведов, всегда отличался храбростью и распорядительностью. Зато дальше двинулся много быстрее. В 1806—1807 годах Барклай выделился как стойкий авангардный и арьергардный начальник, умевший с малыми силами выдерживать натиск французов или сам теснить их. В 1808—1809 годах участвовал в русско-шведской войне и совершил с корпусом труднейший переход по льду через Ботнический залив в Швецию, за что был произведен в чин генерала от инфантерии (пехоты) 48 лет от роду. В 1810 году назначен военным министром. Занимая эту должность, Барклай развил энергичную и плодотворную деятельность по реорганизации и численному увеличению армии, готовя ее к решительному столкновению с французами. С 1806 года по собственной инициативе занимался разработкой операционного плана будущей войны с На-

полеоном, основанного на систематическом уклонении от решительного боя, отступлении в глубь страны, постепенном истощении и расстройстве войск неприятеля и нанесении ему смертельного удара только тогда, когда соотношение сил изменится в пользу России.

Нужно ли пояснять, однако, что в 1812 году, в период небывалого патриотического подъема, Барклай совершенно закономерно не мог оказаться тем человеком, которого народ и армия сочли бы своим вождем. Барклая не знали, как Кутузова или Багратиона: быстро выдвинувшись, он не был главнокомандующим ни в одну из предшествовавших кампаний. Против него говорили и эта малая известность войскам, и иностранное имя, и неумение говорить с солдатами, и, наконец, совершенно необходимая, но столь не удовлетворявшая чувство патриотизма тактика отступления, казавшаяся святотатством именно потому, что исходила от Барклая.

Барклай тяжело пережил недоверие к нему армии и назначение Кутузова. В Бородинском бою он явно искал гибели. Одетый в шитый золотом мундир, во всех орденах и лентах, с огромным плюмажем на шляпе (именно так он изображен Доу), представляя заметную для врага мишень, Барклай непрерывно был на виду у неприятеля и не раз лично водил полки в атаку. «Бросался ты в огонь, ища желанной смерти»,— именно об этом дне пишет Пушкин.

Исключительная храбрость, распорядительность и хладнокровие, проявленные при Бородине, разом восстановили доброе имя Барклая в армии и примирили с ним многих недавних ненавистников. Вскоре острая форма лихорадки вывела генерала из строя более чем на полгода. В 1813 году он, командуя одной из армий, осадил и взял крепость Тори. Затем во главе русских и союзных войск участвовал в ряде сражений, особенно отличившись при Кенигсварте, Лейпциге и Пари-

же. Был награжден деньгами, поместьями, всеми высшими орденами, титулами графа и затем князя.

Портрет Барклая не случайно привлек особое внимание великого поэта — это одна из лучших работ Доу. Одинокую фигуру генерала со спокойным, задумчивым лицом посетитель запоминает надолго. Фоном ему служит не просто «военный стан», как писал Пушкин, а лагерь русских войск под Парижем и панорама самого города, окруженного высотами, взятыми с боя русской армией 18 марта 1814 года. Выбор такого фона не случаен — за руководство штурмом Парижа Барклай-де-Толли был произведен в генерал-фельдмаршалы.

Напомним еще читателю, что статуи Кутузова и Барклая, поставленные в 1837 году, уже после смерти поэта, у Казанского собора, были известны Пушкину. Посетив мастерскую скульптора Орловского в марте 1836 года, поэт увидел изваяния обоих полководцев и еще раз высказал свой взгляд на их роль в Отечественной войне одной выразительной строкой стихотворения «Художнику»:

Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов...

Мы видим, как хорошо знал Пушкин события 1812—1814 годов. И, проходя по Военной галерее Зимнего дворца, поэт, несомненно, вспоминал о них, о русских полководцах, сумевших победить полчища Наполеона. Недаром в «Полководце» он нашел для этих генералов поэтическое и гордое именование: «начальников народных наших сил».

Однако в последние годы жизни перед Пушкиным, особенно часто бывавшим в галерее, при взгляде на некоторые портреты должны были вставать и другие, личные, воспоминания.

Ведь из десятков рам с чрезвычайно схожих портретов на Пушкина смотрели не только в историческом

плане «знакомые образы», а лично хорошо ему знакомые люди. С ними были связаны дни его юности, долголетней ссылки, петербургской и московской жизни. Среди них Пушкин видел и друзей и многочисленных врагов. Словом, здесь, в галерее, наряду с воспоминаниями о 1812 годе, перед поэтом, естественно, вставали также разнообразные картины его жизни, полной напряженной борьбы и творческой деятельности.

Мы располагаем наш рассказ в порядке появления этих людей в жизни Пушкина, хотя часто отношения с ними будут уводить нас в целый ряд последующих лет, порой до самого рокового 1837 года, после чего вновь придется возвращаться к более ранним периодам.





О ТЕХ, КОГО ПУШКИН ЗНАЛ ЛИЧНО

Д. В. ДАВЫДОВ. Возможно, что еще в Москве, до поступления в Лицей, маленький Пушкин слышал имя поэта-офицера Дениса Васильевича Давыдова.

В доме Пушкиных часто бывали писатели, здесь толковали о новостях литературы и, вероятно, обсуждали перевод гвардейского поручика Давыдова в захолустный армейский полк за «возмутительные» стихи. Это были басни «Голова и Ноги», «Река и Зеркало» и другие, широко распространявшиеся в списках. Выраженное в них дворянское оппозиционное настроение, очень далекое от подлинной революционности, сыграло, однако, значительную роль в дальнейшей судьбе автора. Правящие круги никогда не простили Давыдову этих «грехов молодости», продолжая считать его «беспокойным».

Только благодаря выдающейся храбрости и несомненному военному дарованию, выказанному в целом ряде кампаний против французов, шведов и турок в 1806—1811 годах, Давыдов к началу Отечественной войны достиг чина армейского подполковника. Смелый проект создания партизанского отряда для действий в тылу и на сообщениях армии Наполеона, поданный М. И. Кутузову накануне Бородинского боя, и затем

блестящие действия этого отряда прославили имя Давыдова в армии, в народе и выдвинули его в первые ряды героев Отечественной войны. Но с переходом армии за границу Давыдов попал под начальство генерала-немца Винценгероде, и здесь его инициатива и смелость были расценены как недостатки.

Войну Давыдов окончил генерал-майором, командуя гусарской бригадой. В этом чине он оставался более 18 лет, то выходя в отставку, то возвращаясь на службу во время войн 1826 и 1831 годов, давших ему возможность вновь и вновь проявить недюжинные способности кавалерийского начальника и наконец получить давно заслуженный чин генерал-лейтенанта.

Огромная популярность Дениса Давыдова была связана не только с блестящей партизанской деятельностью в 1812 году.

Не меньше он прославился как поэт, создавший особый жанр «гусарских» стихов, живо и ярко передававших настроения военной молодежи начала XIX века. Пламенный патриот, смелый рубака, отчаянный кутила и пылкий любовник — таков герой поэзии Давыдова, описанный с чисто кавалерийской стремительностью, чуждой чопорности и внешней, ложной красивости.

Стихи Давыдова переписывались, заучивались и расходились по русской армии. Вот отрывки наиболее типичных из них:

Ради бога трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай,
С закручёнными усами!
Чтобы хором здесь гремел
Эскадрон гусар летучих,
Чтоб до неба возлетел
Я на их руках могучих...

«Гусарский пир»,
1804 г.

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами,
Днем — рубиться молодцами,
Вечером — горелку пить!

«Песня»,
1815 г.

Сегодня вечером увижусь я с тобою,
Сегодня вечером решится жребий мой,
Сегодня получу желаемое мною —
Иль абшид на покой!..

«Решительный вечер»,
1818 г.

Уже в свои лицейские годы Пушкин хорошо знал своеобразные стихи Давыдова. В их исключительной популярности он мог убедиться в 1816—1817 годах, когда постоянно общался с кружком офицеров стоявшего в Царском Селе и Павловске гвардейского гусарского полка. В этой среде Давыдов был не только любимым поэтом, но и учителем лихой, молодецкой жизни. Вероятно, в эти же годы, может быть в литературном обществе «Арзамас», членами которого были и Пушкин и Давыдов, произошло их личное знакомство, завязались искренние приятельские отношения.

Пушкин высоко ценил оригинальное дарование поэта-партизана и не раз высказывал мысль, что поэзия Давыдова оказала значительное влияние на его собственное творчество. Так, сыну своего друга Вяземского Пушкин говорил, что «в молодости старался подражать Давыдову в кручении стиха и усвоил себе его манеру навсегда». А собеседник Пушкина во время пребывания его в армии Паскевича в 1829 году, офицер Юзефович, пишет: «В бывших у нас литературных беседах я раз сделал Пушкину вопрос, всегда меня за-

нимавший: как он не поддался тогдашнему обаянию Жуковского и Батюшкова и даже в самых первых своих опытах не сделался подражателем ни того, ни другого. Пушкин мне ответил, что этим он обязан Денису Давыдову, который дал ему почувствовать еще в Лицее возможность быть оригинальным».

Наконец в 1836 году, отсылая Давыдову «Историю Пугачева», в стихах, обращенных к самому Давыдову, Пушкин писал:

Тебе, певцу, тебе, герою!
Не удалось мне за тобою,
При громе пушечном, в огне
Скакать на бешеном коне.
Наездник смирного Пегаса
Носил я старого Парнаса
Из моды вышедший мундир:
Но и по этой службе трудной,
И тут, о мой наездник чудный,
Ты мой отец и командир...

Конечно, в этих оценках есть немалая доля дружеского преувеличения, но Давыдов действительно был исключительно одаренным, оригинальным поэтом. Верно понимавший огромное значение Пушкина и преклонявшийся перед его талантом, поэт-партизан высоко ценил отзывы Александра Сергеевича о своем творчестве, гордился ими и не раз говорил, что стихи «Тебе, певцу, тебе, герою...» являются для него «патентом на бессмертие».

Сохранилось много свидетельств чисто дружеского расположения Пушкина к Давыдову. Из южной ссылки великий поэт обращался к нему со стихами и не раз упоминал его в письмах. В 1825 году из Михайловского Пушкин писал Вяземскому: «Кланяйся Давыдову, который забыл меня. Сестра Ольга в него влюблена и поделом...» — после чего приводил критические замечания Давыдова о «Бахчисарайском фонтане». В конце 20-х годов в одно из стихотворений

Давыдова, обращенных к «герою битв, биваков, трактиров», Пушкин вписывает целую строфу:

Киплю, любуясь на тебя,
Глядя на прыть твою младую;
Так старый хрыч, цыган Илья,
Глядит на пляску удалую,
Под лад плечами шевеля...

Зимой 1830/31 года, живя в Москве, Пушкин часто виделся с Давыдовым, они вместе гостили у Вяземского в имении Остафьево. Беседы с Давыдовым и Вяземским помогали Пушкину переживать утрату умершего друга, Дельвига. А в феврале Давыдов, в числе самых близких друзей, присутствовал на «мальчишнике» у Пушкина в канун его свадьбы. В 1832 году, в письме жене, Пушкин говорил по поводу лекции московского профессора Давыдова, что он «ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охотник». И в следующие годы во время своих наездов в Москву, где зимами жил состоявший в отставке Давыдов, Пушкин встречался с ним, читал ему свои новые творения. Виделись они также в Петербурге, куда по делам приезжал Давыдов.

Помимо стихов Д. В. Давыдов писал и прозу. Отстраненный от практической военной деятельности, он насмешливо отметил: «Не позволили драться, я стал описывать, как дрались». Уже вскоре после окончания войны 1812—1814 годов он пишет «Опыт теории партизанского действия» — сочинение, в котором систематизировал сведения об этом виде войны и излагал накопленный опыт. Несмотря на явные достоинства сочинения, «Опыт» долго не печатался из-за бюрократических проволочек высшего военного начальства, которому был представлен на отзыв. На появление в печати этого образца давыдовской прозы Пушкин откликнулся сочувственно:

Недавно я в часы свободы
Устав наездника читал
И даже ясно понимал
Его искусные дово́ды;
Узнал я резкие черты
Неподражаемого слога...

Привыкнув тщательно работать над стихами, Давыдов вносил в свои прозаические сочинения тот же лаконизм, строгий отбор выражений, экспрессию описаний. До сих пор отнюдь не утратили интереса написанные им в различные годы «Воспоминания о Кульневе в Финляндии», «Воспоминания о сражении при Прейсиш-Эйлау», «Тильзит в 1807 г.», «Занятие Дрездена в 1813 г.» и др. Все эти статьи имеют характер записок очевидца, одаренного верным глазом, острым языком и умением увлекательно рассказывать.

Будучи чрезвычайно образованным человеком, непрерывно пополнявшим свои знания систематическим чтением, внимательно следя за всем печатавшимся в России и за границей о войне 1812 года, Давыдов живо отзывался на то, что задевало честь русского имени. Так, им написаны две обстоятельные статьи против помещенных в записках Наполеона ложных сведений о событиях Отечественной войны. Он опровергал их цифрами и фактами. По поводу этих статей П. А. Вяземский писал в «Московском телеграфе»: «Образ изложения мыслей и чувств, свойственный автору нашему, носит отпечаток ума быстрого и светлого; живость мыслей и чувств пробивается сквозь сухость предмета и невольно увлекает читателя».

В 1831—1832 годах Давыдов вел переписку с Вальтером Скоттом и в одном из писем критически разбирал написанную английским романистом «Историю Наполеона», подробно указав на многие ошибки, допущенные в описании действий русской армии.

В прозаических сочинениях Давыдова встречается

немало высказываний, характеризующих его отрицательное отношение к военным порядкам 1820—1830 годов, к парадомании, непрерывной муштровке солдат, к пруссачеству, пришедшему в русскую армию еще из Гатчинских полков Павла I. Осуждая все это, Давыдов писал: «Я не могу простить, что родные войска наши закованы в кандалы германизма». А в «Записках о польской войне 1831 г.» он так описывает свою встречу с гвардейским отрядом, доведенным до полного «строевого совершенства» братом Николая I, Константином: «И подлинно я увидел истинно неподвижную Гатчину. Все затянуто от глотки до пупа. Всякая пряжечка, всякая пуговица, всякий ремешок, всякий солдат, вахмистр, офицер и генерал на месте, уставом им определенном. Зато какое изнурение, какие лохмотья! Как все грустно, все скудно людьми и лошадьми, хотя сей отряд ни разу еще не нюхал пороху. Педантство начальников в военное время есть тягчайший ранец, тягчайший вьюк для подчиненных. Войску русскому необходима распашка, веселость и строгий порядок, без щепетильной взыскательности: тогда только оно здорово и бодро, и если к этому еще добрая пища и победы, тогда и конь топочет, и солдат хохочет, и нет для него недосягаемого и неодолимого». Следует ли удивляться, что писавший эти строки генерал, целиком принадлежавший к русской боевой школе Суворова и Кутузова, не находил себе постоянного места в бездарной военной системе николаевской России.

Впрочем, и в стихах Давыдова порой встречаются едкие осуждающие строфы. Так, в «Современной песне» он высмеивает напускной либерализм помещиков-крепостников, воспитанных на французской литературе:

Томы Тьера и Рабб́о
Он на память знает

И как ярый Мирабо
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей...

Как прозаик Давыдов активно сотрудничал в издававшемся Пушкиным журнале «Современник». Сохранилось несколько раздраженно-горестных писем Пушкина к Давыдову по поводу жестоких цензурных купюр в его военных статьях. А когда Сенковский в своем журнале «Библиотека для чтения», редактируя, «выправил» некоторые стихи Давыдова, Пушкин возмущенно восклицает: «Сенковскому учить Давыдова русскому языку, все равно, что евнуху учить Потемкина».

К творчеству своего гениального друга Давыдов относился с глубоким интересом и искренним восхищением. В письме поэту Языкову он высказал большую осведомленность о режиме работы Пушкина, отмечая, что «он запоем пишет осенью». В письмах Вяземскому постоянно шлет поклоны Пушкину, спрашивает о здоровье, поручает «взять за бакенбарды и поцеловать в ланиту», высказывает нетерпение по поводу затянувшегося выхода в свет «Истории Пугачева», спрашивает, что в это время пишет Пушкин, и одно из писем оканчивает так: «Да ради бога заставьте его продолжать «Онегина»: эта прелесть у меня вечно в руках,— тут все для сердца и для смеха».

И наконец в феврале 1837 года тому же, их общему с Пушкиным другу, Давыдов писал: «Милый Вяземский! Смерть Пушкина меня решительно порази-

ла, я по сию пору не могу образумиться. Здесь бог знает какие толки. Ты, который должен все знать и который был при последних минутах его, скажи мне, ради бога, как это случилось, дабы я мог опровергнуть многое, разглашаемое бабами обоего пола. Пожалуйста, не поленись и уведомь обо всем с начала до конца и как можно скорее. Какое ужасное происшествие! Какая потеря для всей России... Более писать, право, нет духа. Я много терял друзей подобною смертью на полях сражений, но тогда я сам разделял с ними ту же опасность, тогда я сам ждал такой же смерти, что много облегчает, а это бог знает какое несчастие!..»

Месяц спустя, уже зная все подробности смерти Пушкина, о его мужестве на дуэли и предсмертных страданиях, Давыдов вновь писал: «Веришь ли, что я по сю пору не могу опомниться — так эта смерть поразила меня! Пройдя сквозь весь пыл наполеоновских и других войн, многим подобного рода смертям я был виновником и свидетелем, но ни одна не потрясла душу мою подобно смерти Пушкина. Грустно, что рано, но если уже умирать, то умирать так должно, а не так, как умирают те из знакомых нам с тобой литераторов, которые теперь втихомолку служат молебны и благодарят судьбу за счастливейшее для них происшествие. Как Пушкин-то и гением, и чувствами, и жизнью, и смертью парит над ними! И эти навозные жуки думали соперничать с этим громодержавным орлом».

Д. В. Давыдов пережил своего гениального друга всего на два с небольшим года. В 1839 году он начал хлопотать о перенесении на Бородинское поле праха Багратиона (при котором когда-то состоял адъютантом и память которого свято чтил) из села Симы Владимирской губернии, где тот был похоронен в 1812 году. Церемония эта была назначена на август 1839 года, когда под Бородином готовились большие маневры

и открытие памятника павшим воинам. Давыдов был назначен командовать почетным конвоем при перевезении праха Багратиона. Но он не дожил до Бородинской годовщины, скоропостижно скончавшись 22 апреля за письменным столом, на 55 году жизни.

Разбирая творчество поэта-партизана, В. Г. Белинский писал: «Давыдов, как поэт, решительно принадлежал к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии... Талант Давыдова не великий, но удивительно самобытный и яркий».

Замечательная и оригинальная личность Дениса Давыдова, прямодушного, острого, талантливого, храбреца и пылкого патриота привлекала внимание современников. Достаточно напомнить, что ему, кроме Пушкина, посвятили свои стихи Жуковский, Баратынский, Языков, Вяземский, А. Бестужев, Ф. Глинка, Воейков, Ростопчина, Зайцевский и многие другие.

В романе «Война и мир» Л. Н. Толстой, создавая образ лихого гусара-партизана Васьки Денисова, придал ему многие черты биографии и характера Д. В. Давыдова, сохранив даже внешнее сходство — малый рост, курчавые волосы и т. п.

На портрете Доу Давыдов изображен в форме Ахтырского гусарского полка, в рядах которого он начал кампанию 1812 года и которым командовал в 1813 году. На груди Давыдова орден Георгия IV степени, полученный за партизанскую деятельность в Отечественную войну. Над лбом видна седая прядь, которая позволила одному из поэтов назвать Давыдова «бойцом чернокудрявым, с белым локоном на лбу». Несмотря на то что портрет галереи писан не с натуры, а с неизвестного нам изображения, присланного Давыдовым художнику, на нем хорошо видна и характерная особенность лица Давыдова — небольшой вздернутый нос. О нем в русской армии ходил анекдот, записанный Пушкиным в «Исторических за-

писях» (Table-talk), возможно, со слов самого владельца:

«Денис Давыдов явился однажды в авангард к князю Багратиону и сказал: „Главнокомандующий приказал доложить вашему сиятельству, что неприятель у нас на носу, и просит вас немедленно отступить". Багратион отвечал: «„Неприятель у нас на носу? на чьем? если на вашем, так он близко; а коли на моем, так мы успеем еще отобедать"».

В. В. ЛЕВАШОВ. Юный лицеист Пушкин, несомненно, не раз видел генерал-майора Василия Васильевича Левашова, который с 1815 года командовал лейб-гвардии гусарским полком, квартировавшим в Царском Селе и Павловске. А во время пребывания поэта в последнем классе Лицея произошло и более близкое знакомство. По приказу Александра I лицеистам, многие из которых собирались в военную службу, начали преподавать фортификацию, артиллерию и тактику, а также обучать их верховой езде. Один из товарищей Пушкина пишет:

«Мы ходили два раза в неделю в гусарский манеж, где на лошадях запасного эскадрона учились у полковника Кнабенау, под главным руководством генерала Левашова, который и прежде того, видя нас часто в галерее манежа, во время верховой езды своих гусар, обращался к нам с приветом и вопросом: когда мы начнем учиться ездить? Он даже попал по этому случаю в куплеты нашей лицейской песни. Вот ее куплет:

Bonjour, monsieur! Потише,
Поводьем не играй —
Вот я тебя потешу!..
A quand l'equitation? [1]».

---

[1] Когда же [будем заниматься] верховой ездой?

В этой не очень складной строфе, сочиненной насмешливыми и наблюдательными юношами, верно запечатлелся образ внешне лощеного, но по существу грубого человека. Французское приветствие, обращенное к лицеистам, прерывается угрожающим окриком по адресу обучаемых езде гусар, после чего, как ни в чем не бывало, генерал возвращается к любезным французским фразам.

Даже для того жестокого времени насаждаемой Александром I «фрунтомании» Левашов был редкостным истязателем солдат и беззастенчиво их обворовывал. Один из служивших под его командой офицеров пишет в своих воспоминаниях: «Он был своекорыстен и вытягивал из полка всевозможные доходы, в особенности от обмундирования и фуража. Левашов был очень жесток с нижними чинами: многих гусар и унтер-офицеров вогнал в чахотку, беспощадно наказывая фухтелями [1]».

Другой современник рассказывает, как по приказу Левашова гусар наказывали в его квартире. Сидя в соседней комнате и преспокойно завтракая, командир полка покрикивал между глотком вина и куском жаркого: «Громче! Удара не слышу! Крепче бей!»

Очень вероятно, что этот отвратительный образ генерала-живодера, характеристику которого поэт должен был знать от своих приятелей — гусарских офицеров, а может быть, и личные впечатления от какой-нибудь жестокой расправы Левашова с солдатами Пушкин имел в виду, когда в стихотворении «Орлову» писал:

О ты, который, с каждым днем
Вставая на военну муку,
Усталым усачам верхом
Преподаешь царей науку;
Но не бесславишь сгоряча

[1] То есть шомполами.

Свою воинственную руку
Презренной палкой палача...

Возможно, все увиденное в гусарском манеже, сама личность Левашова и другие впечатления от военной службы александровского времени сыграли свою роль в отказе Пушкина от избрания военной карьеры, к которой он так стремился в юношеские годы и для которой, по мнению некоторых современников, был как бы предназначен: он всегда живо интересовался военными науками и не раз проявлял редкую храбрость.

По свидетельству сослуживцев, Левашов был невеждой в области тактики, плохо знал управление строем полка в полевой обстановке, но тем яростнее допекал всех чинов своей части мелочными придирками. В то же время он мнил себя великим стратегом и даже у себя за столом не переставал нудно поучать приглашенных, выставляя свою военную «мудрость». Подчиненные не любили и не уважали Левашова, который и во время Отечественной войны ничем не отличился. Пушкин знал все это от своих приятелей-офицеров лейб-гусарского полка — Чаадаева, Каверина, Раевского и других.

Александр I неизменно благоволил к Левашову, а при Николае I он особенно быстро пошел в гору. Отправной точкой блестящей карьеры Левашова стало 14 декабря 1825 года, когда командир лейб-гусар безотлучно находился при царе на Сенатской площади, за что был награжден чином генерал-лейтенанта. В следующие дни в залах Эрмитажа Левашов вел первые допросы декабристов, содержавшихся на дворцовой гауптвахте. Здесь побывали многие друзья и знакомые Пушкина: Рылеев, А. Бестужев, Пущин, Якубович и др. Допрашивал декабристов Левашов и в Петропавловской крепости, был членом суда над ними, и петербургская молва называла его имя в числе

лиц, «умолявших» царя не смягчать участи осужденных.

В 1832 году Левашов был назначен на важный пост киевского, подольского и волынского генерал-губернатора, а через год получил графский титул.

В Киеве он прославился бестактными и грубыми выходками по адресу 70-летнего фельдмаршала Сакена, командовавшего 1-й армией, штаб которой находился в том же городе, а также вандализмом по отношению к киевской старине. «Наводя порядки», генерал-губернатор срывал древние Киевские валы, рубил старые тополевые аллеи и т. д.

В 1838 году Левашов стал членом Государственного совета. Позже назначался членом различных комитетов и комиссий, вершивших судьбы империи, и вплоть до смерти оставался одним из наиболее приближенных и доверенных слуг Николая I.

В 30-х годах, когда Пушкин довольно часто бывал в Зимнем дворце, появлялся здесь и Левашов, ежегодно приезжавший в Петербург с докладами об управлении порученного ему края. Видимо, они встречались на парадных церемониях.

Доу изобразил Левашова в столь хорошо знакомой Пушкину парадной форме лейб-гвардии гусарского полка. Портрет прекрасно передает ординарную и тупую внешность истязателя солдат и следователя декабристов. Не случайно одного его из всех позировавших генералов художник показал горделиво подбоченившимся, в классической позе военного щеголя начала XIX века, очевидно свойственной Левашову.

П. М. ВОЛКОНСКИЙ. В последние годы пребывания в Лицее Пушкин мог часто видеть коренастую фигуру и брюзгливое выражение лица одного из наиболее близких Александру I людей — начальника Главного

штаба, генерала от инфантерии князя Петра Михайловича Волконского.

Товарищ детских игр Александра и его адъютант в царствование Павла, молчаливый свидетель, если не косвенный участник, заговора, закончившегося 11 марта 1801 года убийством Павла, Волконский неизменно сопровождал царя во время войн с Наполеоном, путешествий по России и разъездов на конгрессы «Священного союза». А когда Александр жил в своей излюбленной летней резиденции — Царском Селе, Волконский был его частым собеседником, спутником на прогулках и учениях гвардейских частей, а также ежедневным докладчиком по всем текущим военным вопросам, так как в эти годы начальнику Главного штаба был подчинен и военный министр.

В войнах 1805—1814 годов Волконский не раз проявлял выдающуюся храбрость. Так, например, под Аустерлицем он, спешившись, со знаменем в руках, трижды водил в штыковую атаку пехотную бригаду и отбил два французских орудия.

Но наибольшую известность Волконский заслужил как деятельный организатор русского Главного и Генерального штабов, руководивший составлением первой сводной карты России, создавший собрание карт иностранных государств, первую большую военную библиотеку, первую мастерскую астрономических и математических инструментов для военных съемок и, наконец, училище колонновожатых, т. е. офицеров Генерального штаба.

При дворе занимала видное положение и сестра П. М. Волконского, некрасивая старая дева. Она состояла фрейлиной царицы и летом жила в Царскосельском Екатерининском дворце, в помещениях, непосредственно прилегавших к зданию Лицея и сообщавшихся с ним крытым переходом, которым часто пользовались лицеисты. Однажды, проходя вечером по

коридору близ дверей квартиры фрейлины, Пушкин услышал в темноте шелест женского платья. Решив, что это — хорошенькая горничная Волконской, Наташа, с которой он был близко знаком и которой посвятил стихи «Вянет, вянет лето красно», юный поэт устремился на шорох. Он едва успел обнять девушку, как отворилась ближняя дверь, и — о ужас! — Пушкин увидел перед собой княжну Волконскую. Он бросился бежать, а негодующая фрейлина, отыскав своего влиятельного брата, пожаловалась ему не неслыханную дерзость лицеиста. В тот же вечер Волконский доложил о случившемся Александру и выразил свое возмущение директору Лицея Энгельгардту. А на другой день и царь потребовал объяснений от Энгельгардта. Директор изобразил в ярких красках отчаяние Пушкина, сказал, что юноша просит позволения написать княжне письмо с извинениями, и сумел так объяснить дело, что Александр смягчился и сказал, посмеиваясь: «Между нами, старая дева, быть может, в восхищении от ошибки молодого человека...» Тем и кончилось происшествие, причинившее много волнений Энгельгардту, Пушкину и его товарищам. Памятником этому случаю остался следующий экспромт поэта:

On peut tres bien, mademoiselle,
Vous prendre pour une maquerelle,
Ou pour une vielle guenon,
Mais pour une grâce,— oh, mon Dieu, non!

Это четверостишие В. Я. Брюсов перевел так:

Сударыня, могу сказать,
За сводню можно вас принять,
И на мартышку вы похожи,
На грацию ж... помилуй боже!

Благополучная карьера Волконского поколебалась только однажды, в 1823 году, когда у него произошла резкая размолвка с Аракчеевым из-за смет Военного министерства. Волконский много лет ненавидел своего

соперника по близости к Александру и в письмах к друзьям называл всесильного графа не иначе, как «проклятым змием». В столкновении пересилил, конечно, Аракчеев, и Волконский, оставив место начальника Главного штаба, уехал «лечиться» в Карлсбад, а затем получил дипломатическое поручение в Париж. Однако в 1825 году он опять состоял при Александре и сопровождал его в последней поездке в Таганрог.

Летом 1824 года жена Волконского с дочерью приехала на морские купания в Одессу. Здесь они познакомились с Пушкиным, и при отъезде их в Петербург поэт отправил с ними А. И. Тургеневу письмо, содержавшее резкую характеристику неприязненных отношений с Воронцовым и извещение, что подал в отставку.

В первый год царствования Николая I П. М. Волконский был назначен министром двора и на этом посту оставался 26 лет, вплоть до смерти. Когда в конце февраля 1832 года Пушкин, собирая материалы для «Истории Петра Великого», захотел ознакомиться с библиотекой Вольтера, в которой находились ценные материалы, пересланные в свое время Вольтеру И. И. Шуваловым, он просил на это разрешения у шефа жандармов Бенкендорфа. Библиотека Вольтера хранилась в Эрмитаже и подлежала, как и весь Эрмитаж, ведению министра двора, Волконского. После доклада Николаю I Бенкендорф сообщил Волконскому о допуске Пушкина к занятиям, и в деле имеется пометка министра двора: «Допустить известного сочинителя Пушкина рассмотреть хранящуюся в Эрмитаже библиотеку Вольтера». Мы не знаем, к сожалению, сколько раз бывал в ней Пушкин. Сохранилась только одна запись поэта о посещении ее 10 марта 1832 года, а также сделанный им набросок со статуи Вольтера работы Гудона, стоявшей в библиотеке.

Может быть, в результате одесского знакомства с

княгиней Пушкин бывал у Волконских в Петербурге. Так, 8 февраля 1833 года поэт, уже женатый, был с Натальей Николаевной на одном из блестящих балов-маскарадов, даваемых Волконскими. В письме Нащокину, написанном через несколько дней после этого, Пушкин сообщал: «...нет у меня досуга, вольной, холостой жизни, необходимой для писателя. Кружусь в свете, жена моя в большой моде — все это требует денег, деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения».

И как раз в эти самые дни от П. М. Волконского ждал поэт хоть временного облегчения своих материальных затруднений. За несколько месяцев до этого Пушкин, от имени своей жены, предложил министерству двора приобрести огромную бронзовую статую Екатерины II, купленную в конце XVIII века прадедом Пушкиной, Гончаровым. Еще летом 1832 года авторитетная комиссия из академиков-скульпторов по поручению Волконского осмотрела статую и дала заключение, что она стоит более 25 тысяч рублей — суммы, которую за нее просил Пушкин. 18 февраля 1833 года Пушкин от имени Натальи Николаевны написал письмо Волконскому с просьбой дать окончательный ответ по поводу покупки статуи. 25 февраля министр двора ответил изложенным в самых изысканных выражениях, но безоговорочным отказом, он ссылался на «весьма затруднительное положение, в котором находится Кабинет его величества, отчего не может делать никаких приобретений». Несомненно, такой ответ был тяжким ударом по денежным расчетам Пушкина, который предполагал, что часть этой суммы останется у него в уплату долга, данного теще, Н. И. Гончаровой, еще перед свадьбой.

Отказ Волконского не был, по всей вероятности, продиктован действительным положением финансовых дел министерства двора. Крайняя скупость Волконско-

го была общеизвестна и вошла в поговорку. Среди придворных он носил прозвище «Le prince Non» («Князь Нет») за неизменные отрицательные ответы на все обращенные к нему просьбы. В то же время, по отзывам современников, сам Волконский отнюдь не был чужд любви к деньгам.

По поводу столь близко знакомой ему скупости министра двора и в то же время свидетельствуя о неотступно преследовавших его материальных затруднениях, Пушкин записал в своем дневнике 8 января 1835 года: «Бриллианты и дорогие каменья были еще недавно в низкой цене. Они никому не были нужны. Выкупив бриллианты Наталии Николаевны, заложенные в московском ломбарде, я принужден был их перезаложить в частные руки, не согласившись продать их за бесценок. Нынче узнаю, что бриллианты опять возвысились. Их требуют в кабинет, и вот по какому случаю.

Недавно государь приказал князю Волконскому принести ему из кабинета самую дорогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 9000 руб. Князь Волконский принес табакерку. Государю показалась она довольно бедна.— «Дороже нет»,— отвечал Волконский.— «Если так, делать нечего,— отвечал государь:— я хотел тебе сделать подарок, возьми ее себе». Вообразите себе рожу старого скряги. С этой поры начали требовать бриллианты. Теперь в кабинете табакерки завелись уже в 60 000 руб».

Волконский как министр двора являлся хотя и не прямым, но высшим начальством всех лиц, носивших придворные звания, и в их числе камер-юнкера Пушкина, с которым постоянно встречался во дворце.

Наконец, в доме жены Волконского, на Мойке, великий поэт жил с осени 1836 года и умер 29 января 1837 года.

Внешним обликом, так ярко воспроизведенным на

портрете работы Доу, а также постоянным брюзжанием Волконский напоминал старую ворчливую женщину. Недаром в известной агитационной «Песне» Рылеева сказано:

Князь Волконский — баба,
Начальником штаба...

АЛЕКСАНДР I. Отрицательное отношение Пушкина к Александру I как к человеку и государственному деятелю сформировалось еще в лицейские годы.

Подростком поэт пережил короткий период поклонения царю, который представал в 1813—1815 годах перед очень многими вполне зрелыми людьми не иначе, как в ореоле славы победителя Наполеона и умиротворителя Европы. О внедрении в сознание молодежи таких представлений пеклись окружавшие лицеистов наставники. Свидетельство этих настроений — написанное 15-летним поэтом стихотворение «Александру», связанное с возвращением царя из Парижа. Однако рассказы очевидцев о действительной роли царя в кампаниях 1807—1814 годов и на Венском конгрессе, известия о том, что происходило после войны за стенами Лицея в родной стране, чтение, встречи с критически мыслящими людьми, такими, как Чаадаев, Н. Тургенев и другие, помогли Пушкину очень быстро понять глубокую реакционность Александра I. Он увидел действительную политическую сущность этого организатора «Священного союза», душителя свободной мысли во всей Европе, а в России — создателя военных поселений и покровителя мракобесов (например, архимандрита Фотия и «гасителя просвещения» Магницкого), не забывавшего, однако, вовремя обронить звучную либеральную фразу.

В те же годы Пушкин невольно наблюдал повседневную жизнь Александра I, его страсть к показной

муштре солдат — недавних победителей французов,— которых на смотрах, под личным руководством царя, заставляли мучительно «тянуть носки», «печатать» церемониальный шаг различной, строго установленной ширины и т. д. Недаром в стихотворении «Орлову» поэт назвал строевые учения этого времени «военной мукой» и «царей наукой». Несомненно, здесь же, в Царском Селе, поэт слышал о многочисленных любовных похождениях Александра I, проходивших почти на глазах лицеистов, в маленьком дворцовом мирке. И это тоже не возвышало авторитета самодержца.

В 1818 году появляются прославленные «Сказки» (Noël):

Ура! в Россию скачет
Кочующий деспóт...

В ней с острой насмешкой показан Александр I, кичащийся влиянием на европейскую политику. Приехав с очередного конгресса «Священного союза», объединявшего реакционные силы России, Пруссии и Австрии, царь самодовольно «вещает»:

«Узнай, народ российский,
Что знает целый мир:
И прусский и австрийский
Я сшил себе мундир.
О радуйся, народ: я сыт, здоров и тучен;
Меня газетчик прославлял;
Я пил, и ел, и обещал —
И делом не замучен».

И вслед за тем Пушкин пародирует либеральные речи, обещания Александра I:

«...Закон постановлю на место вам Горголи [1],
И людям я права людей,
По царской милости моей,
Отдам из доброй воли».

[1] *Горголи* — петербургский обер-полицеймейстер.

Далее в «Сказках», облеченных в форму народной старофранцузской святочной песни, раскрывается должное отношение подданных к лживым обещаниям царя. Многоопытная мать Мария говорит младенцу Христу, поверившему было словам Александра:

«...Пора уснуть уж наконец,
Послушавши, как царь-отец
Рассказывает сказки».

Вслед за тем появилась эпиграмма:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В Двенадцатом году дрожал,
Зато был фрунтовой профессор!
Но фрунт герою надоел —
Теперь коллежский он асессор
По части иностранных дел!

В этих восьми строках изложена со свойственным Пушкину лаконизмом и остротой вся жизнь Александра — от гатчинской плац-парадной школы в юности до разъездов по конгрессам «Священного союза», созданного для подавления национально-освободительного и революционного движения в Европе.

Оба стихотворения пользовались исключительной популярностью, переписывались во множестве экземпляров, заучивались наизусть военной молодежью. Их, среди других «вольнолюбивых» стихов Пушкина, называли многие декабристы, перечисляя литературные произведения, сыгравшие роль в формировании политических убеждений членов тайных обществ.

После смерти Александра I Пушкин не раз возвращался к оценке его личности и деятельности. Так, сожженная в 1830 году X глава «Онегина» начиналась характеристикой царя:

Властитель слабый и лукавый,
Плешивый щеголь, враг труда,

Нечаянно пригретый славой,
Над нами царствовал тогда...

Неоднократно, говоря о событиях 1812 года, великий поэт с трезвостью историка и художника неизменно относил победу над французами за счет подъема народных сил и искусства русских полководцев, никогда не приписывая и доли ее царю. Но он не раз отмечал то ведущее положение, которое благодаря русским победам занял Александр I на Венском конгрессе и в последующие годы существования «Священного союза», использовав это положение в целях укрепления реакционной политики царизма.

Портрет Александра I работы Ф. Крюгера, находящийся теперь в галерее, не был известен Пушкину. Он, как мы уже говорили, был написан только в 1837 году. Но тогда это место занимал столь же крупный конный портрет Александра I работы Доу. Ни этого портрета, ни точного его воспроизведения мы не знаем и о его художественных качествах не можем судить. Но до нас дошла резкая критика П. П. Свиньина, очевидно сформулировавшего те недостатки, за которые портрет и был убран из галереи. Льстец Свиньин пишет: «Напрасно будете искать в лице великодушного победителя той ангельской улыбки, которая обвораживала парижан... Из сего мрачного взгляда на сем равнодушном челе — он (посетитель.— *Авт.*) ничего не откроет, ничего не прочтет...» Вероятно, Доу слишком реалистически передал облик Александра I.

Еще бабка царя, Екатерина II, называла его «великим актером», и таким он остался на всю жизнь. Мы знаем, что чаще всего, бывая на людях, Александр улыбался «ангельской» улыбкой, прославленной верноподданными современниками, в то же время сохраняя мрачную складку меж бровей, изобличавшую сущность его натуры. Именно таков канонический портрет Александра I в живописи и скульптуре.

Тот же отпечаток носит лицо царя и на портрете Ф. Крюгера. Этому странному контрасту верхней и нижней частей лица посвящена эпиграмма Пушкина, написанная в 1829 году. Вдохновил поэта на создание этой эпиграммы бюст Александра I работы Торвальдсена, стоявший в Публичной библиотеке:

Напрасно видишь тут ошибку:
Рука искусства навела
На мрамор этих уст улыбку,
А гнев на хладный лоск чела.
Недаром лик сей двуязычен.
Таков и был сей властелин:
К противочувствиям привычен,
В лице и в жизни арлекин.

М. А. МИЛОРАДОВИЧ. В 1812—1820 годах популярность ненапечатанных «вольнолюбивых» стихов Пушкина была очень велика. Один из современников поэта свидетельствовал: «Везде ходили по рукам, переписывались и читались его «Деревня», «Ода на свободу», «Ура! в Россию скачет...» и другие мелочи в том же духе. Не было живого человека, который не знал бы его стихов».

В столице и в провинции через самый краткий срок после написания читались смелые строки:

Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

«К Чаадаеву»,
1818 г.

Или:

Питомцы ветреной Судьбы,
Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы:
Везде неправедная Власть...

«Вольность».
1817 г.

А написавший эти строки молодой поэт продолжал почти публично высказывать свой образ мыслей, ненависть к самодержавию, сыпал остротами и эпиграммами на высших чиновников, царя и политические события.

Благодаря огромной популярности Пушкину же приписывалось и все, что было тогда в обращении из противоправительственных стихов и острот, принадлежавших другим авторам.

В апреле 1820 года власти решили подвергнуть Пушкина строгому наказанию. В квартиру его подослали агента, который безуспешно пытался подкупить слугу поэта и получить рукописи его ненапечатанных сочинений. Узнав об этом, Пушкин приготовился к обыску и сжег все свои нелегальные стихи. Вскоре он был вызван к петербургскому генерал-губернатору графу Михаилу Андреевичу Милорадовичу.

Вот как описывает встречу Пушкина с Милорадовичем один из ближайших друзей поэта, собиравший сведения о ней менее чем через месяц после событий: «Узнаю, что в одно прекрасное утро пригласил его полицеймейстер к графу Милорадовичу, Петербургскому военному генерал-губернатору. Когда привезли Пушкина, Милорадович приказывает полицеймейстеру ехать

в его квартиру и опечатать все бумаги. Пушкин, слыша это приказание, говорит ему: «Граф, вы напрасно это делаете. Там не найдете того, что ищете. Лучше велите дать мне перо и бумаги, я здесь же все вам напишу». Милорадович, тронутый этой свободной откровенностью, торжественно воскликнул: «Ah, c'est chevaleresque!» [1] — и пожал ему руку. Пушкин сел, написал все контрабандные свои стихи и попросил дежурного адъютанта отнести графу в кабинет. После этого подвига Пушкина отпустили домой и велели ждать дальнейших приказаний».

Рассказ этот в общих чертах сходится и с другими свидетельствами. Существует, однако, ряд добавлений, наиболее существенное из которых говорит, что Пушкин в списке, составленном для Милорадовича, не указал эпиграммы на царя и Аракчеева, понимая, что за эти строки особенно пострадает.

На другой день генерал-губернатор представил Александру I все написанное поэтом. Между тем по городу разнеслись уже слухи, что Пушкина ссылают в далекие места с суровым климатом. Называли Сибирь и Соловецкие острова. Друзья поэта всполошились и стали деятельно хлопотать о смягчении его участи. Карамзин, Жуковский, Энгельгардт, Гнедич, Чаадаев, Оленин действовали различными путями на царя, его мать, Марию Федоровну, и графа Каподистрия, непосредственного начальника поэта (Пушкин числился на службе в Коллегии иностранных дел). В то же время служивший для особых поручений при Милорадовиче полковник Ф. Глинка, восторженный поклонник Пушкина, старался настроить в его пользу своего начальника, растолковывая весьма мало сведущему в литературе генералу значение великого таланта «крамольного» юноши.

---

[1] «Ах, это по-рыцарски!» (*Франц.*)

Через несколько дней, благодаря всем этим хлопотам, участь Пушкина была решена сравнительно мягко — его выслали на службу в Екатеринослав (ныне Днепропетровск). Поэт выехал из Петербурга 6 мая 1820 года с казенной подорожной, подписанной, по всей вероятности, тем же генерал-губернатором Милорадовичем.

Сыгравший столь заметную роль в жизни Пушкина, генерал от инфантерии М. А. Милорадович начал боевую службу в войну со Швецией в 1788 году и почти непрерывно продолжал ее до взятия Парижа в 1814 году. Имя его приобрело известность во время Итальянского и Швейцарского походов Суворова 1799 года, когда он, 27-летний генерал-майор, не раз заслужил похвалы великого полководца быстротой действий и презрением к смерти. Теми же качествами отличался Милорадович и как сподвижник Кутузова в кампаниях 1805 и 1812 годов, в промежутке между которыми сражался с турками в Валахии и на Дунае. В 1813 году он успешно действовал под Бауценом и Кульмом, а начиная с Лейпцигского сражения командовал гвардейским корпусом.

Малообразованный, не обладавший глубоким умом и широким кругозором, Милорадович был только смелым исполнителем возлагаемых на него боевых заданий. В армии ходили десятки анекдотов о его грубых ошибках во французском языке, которым он любил, однако, блеснуть, о наивном хвастовстве своими боевыми делами и графским титулом, полученным за них в 1813 году, и, наконец, о его уверенности в собственной неотразимости для особ женского пола. Широко известна была его несколько безалаберная доброта и расточительность: он вечно был без денег, тратя их на различные прихоти или раздавая всем, кто просил.

Милорадович был щеголь, старался, но не всегда умел, сказать острое слово, очень дорожил своей попу-

лярностью и верил в нее, был несколько театрален, любил делать благородные жесты и говорить громкие слова, как и было в упомянутом случае с Пушкиным.

В качестве петербургского генерал-губернатора, которым он стал с 1818 года, продолжая в то же время командовать гвардейским корпусом, Милорадович проявил отсутствие деловых качеств и беспечность, соединенную с пристрастием к внешнему блеску. Он очень любил показываться с целым штабом на «народных» гуляньях и в местах летних прогулок петербуржцев. На устройство одного из последних, Екатерингофа, он затратил огромные городские средства, с которыми обращался столь же расточительно, как и со своими собственными. Здесь давал он праздники и балы в возведенных по его приказу павильонах и беседках.

Постоянный посетитель театрального училища и театров, генерал-губернатор был внимателен преимущественно к хорошеньким актрисам, разыгрывая роль покровителя и знатока искусств. С «непокорными» и «непочтительными» актрисами и актерами обращался порой круто, «по-военному», отправляя под арест в театральную контору и даже в Петропавловскую крепость. Известного поэта П. А. Катенина, приятеля Пушкина и Грибоедова, Милорадович выслал из Петербурга за то, что тот публично выражал недовольство игрой актрисы, которой покровительствовал генерал-губернатор.

После смерти Александра I, во время междуцарствия в ноябре — декабре 1825 года, Милорадович держал себя самоуверенным и хвастливым «хозяином столицы», утверждая, что у него «60 тысяч штыков в кармане», то есть что он вполне располагает гвардией, на безусловное повиновение которой рассчитывал. Отречение Константина, присяга Николаю I и события 14 декабря застали генерал-губернатора врасплох. Новое царствование не сулило ему прежнего высокого по-

ложения. Уверенный в воцарении Константина, он в предшествовавшие дни держал себя с Николаем независимо и даже несколько свысока, привыкнув видеть в нем прежде всего своего подчиненного, дивизионного генерала в гвардейском корпусе. Пораженный вестью о выходе на Сенатскую площадь восставших солдат, Милорадович прискакал к их строю и безуспешно пытался убедить вернуться в казармы. Здесь он и был смертельно ранен декабристом Каховским.

Н. Н. РАЕВСКИЙ и С. Г. ВОЛКОНСКИЙ. Приехав в Екатеринослав, Пушкин не успел еще оглядеться и устроиться, как заболел лихорадкой, простудившись во время купания. В это время через Екатеринослав проезжал следовавший из Киева на Кавказские Минеральные Воды генерал Николай Николаевич Раевский с двумя дочерьми — Марией и Софией и сыном, тоже Николаем Николаевичем.

Младший Раевский, офицер лейб-гвардии гусарского полка, подружился с Пушкиным еще в Царском Селе, там же поэт встречался и с самим знаменитым генералом. Зная, что в Екатеринославе находится его ссыльный приятель, младший Раевский, едва вылезши из дорожной коляски, бросился искать поэта. Он застал Пушкина в «гадкой избенке, на досчатом диване, небритого, худого и бледного»,— как пишет врач, ехавший с генералом и в тот же день взявшийся за лечение больного. Узнав о положении Пушкина, генерал решил увезти его с собой на воды. Разрешение местного начальства было дано, и менее чем через месяц после своей высылки из Петербурга поэт уже ехал с Раевскими через Новочеркасск и Ставрополь в Горячеводск (ныне Пятигорск).

Генерал от кавалерии Н. Н. Раевский, с которым в это время близко общался Пушкин, был одним из

замечательнейших военных деятелей своего времени. Прошедший боевую школу на турецкой, польской и кавказской войнах конца XVIII века, близкий друг и соратник П. И. Багратиона, под командой которого он сражался в 1806 году с французами, в 1808-м — со шведами и в 1810-м — с турками, Раевский особенно прославился в Отечественную войну. У деревни Салтановки он героически атаковал корпус Даву, рвавшийся следом за уходившей армией Багратиона, у Смоленска сдерживал авангард Наполеона, обеспечивая соединение наших армий, а под Бородином защищал центр русской позиции, и главный ее редут вошел в военную историю с его именем. В 1813 году Раевский командовал гренадерским корпусом, во главе которого сражался при Бауцене и Кульме. При Лейпциге, раненный пулей в грудь, он остался в строю до конца сражения. В 1814 году участвовал в ряде боев, в штурме Парижа. После войны Раевский командовал корпусом, штаб которого стоял в Киеве.

Помимо выдающегося военного дарования и боевого опыта Раевский, по единодушным отзывам современников, обладал высокими человеческими достоинствами — редкой скромностью, равнодушием к почестям, независимостью мыслей и суждений, серьезным образованием, гуманностью и отзывчивостью к окружающим и подчиненным.

Все эти качества ярко выразились в отношениях Раевского с молодым Пушкиным. Характеризуя их, один из первых биографов великого поэта писал: «Несмотря на французское воспитание, Раевский был настоящий русский человек, любил русскую речь, по собственной охоте знаком был с нашей словесностью, знал и ценил простой народ, сближался с ним в военном быту и в своих поместьях, где, между прочим, любил заниматься садоводством и домашней медициной. В этих отношениях он далеко не походил на своих то-

варищей по оружию, русских знатных сановников, с которыми после случалось встречаться Пушкину и которым очень трудно было понять, что за существо поэт, да еще русский. Раевский как-то особенно умел сходиться с людьми, одаренными свыше. По отношению к Пушкину генерал Раевский важен еще для нас как человек с разнообразными и славными воспоминаниями и преданиями, которыми он охотно делился в разговорах».

Беседы такого рода, несомненно, происходили в течение всего времени, проведенного Пушкиным в кругу семьи Раевских, и начались именно в первые дни пути, когда, узнав, что поэт, ехавший в открытой коляске со своим приятелем, страдает от приступов лихорадки, генерал пересадил его в свою карету. В «Исторических записях» Пушкина в разделе «Table-talk» сохранился ряд рассказов Раевского, метко характеризовавших некоторых деятелей времени Екатерины II и знакомцев генерала по военному поприщу.

6 июня приехали в Горячеводск, где уже лечился старший сын Раевского, полковник Александр Николаевич. Путешественники прожили здесь, а также в Железноводске и Кисловодске около двух месяцев. Окончательно излеченный местными ваннами, Пушкин совершал прогулки по окрестностям с братьями Раевскими. Плененный величественной природой, здесь он задумал и начал писать «Кавказского пленника».

5 августа Раевские и Пушкин выехали в Крым и через крепость Кавказскую (ныне город Кропоткин), Тамань, Керчь и Феодосию прибыли к концу месяца в Гурзуф. Ночью, на корабле, при переезде из Феодосии, в то время как его спутники спали, Пушкин создал свою элегию «Погасло дневное светило».

В Гурзуфе ждали Раевских жена генерала (внучка великого Ломоносова) и две старшие дочери. Все разместились в одном предоставленном в распоряжение

генерала доме. Описывая осенью брату Льву свое путешествие, Пушкин восторженно сообщал о жизни в Крыму: «Там прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни моей провел я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нем героя, славу русского войска, я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского века, памятник 12-го года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества. Старший сын его будет более нежели известен. Все его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался,— счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение,— горы, сады, море; друг мой, любимая моя надежда — увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

В середине сентября, оставив в Гурзуфе жену и дочерей, генерал, вместе со своим младшим сыном и Пушкиным, выехал в обратный путь. Часть пути они ехали верхом и вместе посетили Георгиевский монастырь и Бахчисарай, где осматривали «в забвеньи дремлющий дворец» крымских ханов. В конце сентября поэт прибыл в Кишинев, куда за истекшее время была переведена из Екатеринослава канцелярия его начальника, генерала Инзова.

Общение с семейством Раевских оставило значительный след в творчестве Пушкина. Николаю Николаевичу — младшему, знатоку и тонкому ценителю литературы, до последних лет жизни оставшемуся его другом, поэт посвятил «Кавказского пленника», Алек-

сандру Николаевичу, под глубоким и сложным влиянием которого он некоторое время находился, посвящены стихи «Демон» и «Коварность». Исследователи творчества Пушкина полагают, что несколько стихотворений, написанных в ближайшие годы после пребывания на Кавказе и в Гурзуфе, связаны с впечатлением, произведенным на него двумя старшими дочерьми генерала.

Наконец, Марии Николаевне, смуглой, черноглазой, живой и шаловливой девушке-подростку, с которой он виделся ежедневно во все три месяца своего путешествия, Пушкин через несколько лет посвятил поэму «Полтава». Существует предположение, что увлечение Марией Раевской было одним из наиболее серьезных в жизни поэта. С ее именем связывают не одну строфу в «Бахчисарайском фонтане», «Цыганах», «Онегине» и других произведениях Пушкина. Сама Мария Николаевна рассказывает в своих записках:

«Мне вспоминается, как во время этого путешествия, недалеко от Таганрога, я ехала в карете с Софьей, нашей англичанкой, русской няней и компанионкой. Завидев море, мы приказали остановиться, вышли из кареты и всей гурьбой бросились любоваться морем. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт шел за нами, я стала забавляться тем, что бегала за волной, а когда она настигала меня, я убегала от нее. Кончилось тем, что я промочила ноги. Понятно, я никому ничего об этом не сказала и вернулась в карету. Пушкин нашел, что эта картинка была очень грациозна, и, поэтизируя детскую шалость, написал прелестные стихи; мне было тогда лишь 15 лет:

Как я завидовал волнам,
Бегущим резвой чередою
С любовью лечь к ее ногам.
Как я желал тогда, с волнами
Коснуться милых ног устами.

Позже, в поэме «Бахчисарайский фонтан», он сказал:

...ее очи
Яснее дня,
Чернее ночи.

В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал все, что видел»,— скромно заканчивает Раевская.

Несомненно, что с Марией Николаевной Пушкин еще не раз встречался в ближайшие годы в Киеве. Но чувство поэта осталось неразделенным.

Пленившей Пушкина девушке предстоял незаурядный жизненный путь, связанный с судьбой ее мужа. В январе 1825 года Мария Раевская вышла замуж за генерал-майора князя Сергея Григорьевича Волконского.

Волконский был на 17 лет старше своей жены. Он начал боевую службу в 1806 году, отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау, а в 1810 году в войне с Турцией проявил особенную отвагу в бою при Батине. В 1812 году командовал конным партизанским отрядом, год спустя за храбрость, проявленную при Калише, награжден орденом Георгия IV степени. Менее чем за 10 лет боевого пути он участвовал в 58 сражениях, в 1813 году был произведен в генерал-майоры. После войны Волконский служил на юге России, где с ним познакомился и сблизился Пушкин. Особенно часто они встречались весной 1824 года в Одессе.

Волконский, командовавший в это время пехотной бригадой, был одним из руководящих деятелей Южного тайного общества, и есть сведения, что именно ему было поручено завербовать Пушкина в число членов. Вероятно, он, как и другие будущие декабристы, не пытался этого сделать, боясь подвергнуть великого поэта опасностям, связанным с политической борьбой, а может быть понимая, что поэт своими вольнолюби-

выми стихами, и не состоя в тайном обществе, приносит огромную пользу его делу. Сохранилось только одно письмо С. Г. Волконского Пушкину, написанное из Петербурга осенью 1824 года в село Михайловское. В нем Волконский выражает сожаление, что ссыльный поэт подвергся «новым гонениям» правительства, и надежду, что Пушкин изберет темой своих творений историю древних русских республик — Новгорода и Пскова. Переходя к событиям собственной жизни, Волконский сообщает, что женится на Марии Николаевне Раевской, и высказывает уверенность, что «всякое доброе известие» о нем будет приятно Пушкину. Письмо проникнуто доброжелательным, дружественным чувством.

Когда в январе 1826 года Волконский был арестован в городке Умань и отправлен в Петербург, где заключен в Петропавловскую крепость, Мария Николаевна, едва оправившись после родов, несмотря на резкое противодействие семьи, особенно брата Александра, поехала в Петербург. Здесь она добилась свидания с мужем и ожидала решения его участи с твердым желанием разделить ее до конца. Когда Волконский был приговорен к 20 годам каторги, Мария Николаевна решила последовать за ним в Сибирь. Ей пришлось выдержать длительную борьбу и со своими близкими, которые отговаривали ее от этого шага, и с правительством, делавшим все, чтобы запугать жен декабристов, заставить их отказаться от намерений ехать за мужьями. Оставив сына в семье родителей — его не позволили взять с собой,— Мария Николаевна тронулась в дальний путь.

В Москве, проездом, она виделась с Пушкиным, который через нее хотел передать в Сибирь свое стихотворение «Во глубине сибирских руд»:

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье...

Но поэт не поспел доставить Волконской стихотворения: торопясь к цели путешествия, она уехала в ночь после их разговора.

При этом свидании Пушкин говорил Марии Николаевне, что собирается писать книгу о Пугачеве и надеется с ней увидеться в поездке на Урал, на места действия знаменитого восстания. А через год, узнав о смерти маленького сына Волконских, оставленного в европейской России, поэт послал Марии Николаевне следующую эпитафию:

В сиянье, в радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.

Образ Марии Николаевны вдохновил много позже Н. А. Некрасова на создание поэмы «Русские женщины».

Гроза 1825 года тяжело отозвалась на семье Раевских. Кроме С. Г. Волконского был арестован генерал-майор М. Ф. Орлов, муж старшей из сестер Раевских — Екатерины, хоть и не приговоренный к каторге, но навсегда исключенный из службы и обреченный на жизнь под полицейским надзором. Были привлечены к следствию и арестованы оба сына генерала, правда, вскоре их освободили. Помимо этого, сослан в каторгу один из ближайших его родственников, отставной полковник В. Л. Давыдов. Наконец, добровольно уехала навсегда в Сибирь Мария Николаевна.

Н. Н. Раевский мужественно принял все удары судьбы, но, несомненно, тяжкие волнения 1825—1826 годов поколебали и ранее расстроенное ранами и военными трудами его здоровье. А в следующие годы

последовали еще два неожиданных удара — исключение со службы обоих его сыновей, Николая и Александра.

Генерал Н. Н. Раевский умер 16 сентября 1829 года в возрасте 58 лет. В последние минуты, смотря на портрет дочери Марии, он сказал: «Это — самая удивительная женщина, которую я знал».

Пушкин был верным другом семьи Раевских. Когда в начале 1830 года вдова генерала обратилась к нему с просьбой походатайствовать о ее материальных делах, он, не задумываясь, написал об этом шефу жандармов Бенкендорфу, хотя отношения их в тот момент были весьма натянуты — поэту было только что отказано в разрешении отправиться путешествовать за границу.

Вот это письмо Пушкина: «Весьма не вовремя приходится мне прибегнуть к благосклонности вашего превосходительства, но меня обязывает к тому священный долг. Узами дружбы и благодарности связан я с семейством, которое ныне находится в очень несчастном положении: вдова генерала Раевского обратилась ко мне с просьбой замолвить за нее слово перед теми, кто может довести ее голос до царского престола. То, что выбор ее пал на меня, само по себе уже свидетельствует, до какой степени она лишена друзей, всяких надежд и помощи. Половина семейства находится в изгнании, другая — накануне полного разорения. Доходов едва хватает на уплату процентов по громадному долгу. Г-жа Раевская ходатайствует о назначении ей пенсии в размере полного жалованья покойного мужа, с тем, чтобы пенсия эта перешла дочерям в случае ее смерти. Этого будет достаточно, чтобы спасти ее от нищеты. Прибегая к вашему превосходительству, я надеюсь судьбой вдовы героя 1812 года — великого человека, жизнь которого была столь блестяща, а кончина так печальна,— заинтересовать скорее воина, чем

министра, и доброго и отзывчивого человека скорее, чем государственного мужа».

Просьба Раевской была удовлетворена. Явно преувеличивая роль своего друга в этом эпизоде, П. В. Нащокин сообщал, что «Пушкин выпросил вдове Раевского пенсию: государь ей назначил 12 тысяч пенсиону». Мало вероятно, чтобы на Николая I или Бенкендорфа подействовало красноречивое и полное благородства письмо Пушкина. Но роль Раевского в 1812 году, его место среди русских полководцев были так значительны и почетны, что, очевидно, требовали этой пенсии, отнюдь не такой большой по сравнению с арендами, пенсиями и единовременными подачками, постоянно дававшимися многим «верноподданным» слугам царя.

Портрет Н. Н. Раевского, несомненно, принадлежит к числу наиболее выразительных произведений Доу, исполненных с натуры, как свидетельствует надпись в левом нижнем его углу. Энергичное, мужественное лицо, со сдвинутыми бровями и прямым, твердым взглядом, передает сильный характер героя. Простой вицмундир без шитья, звезды высших орденов, полуприкрытые походной шинелью, подчеркивают суровый облик и скромность Раевского.

К удачным и остро схожим с оригиналом относится и портрет С. Г. Волконского. Он написан в 1823 году, но в связи с восстанием 1825 года не был помещен в галерею при ее открытии. Пролежав в кладовой дворца более 80 лет, портрет этот после революционных событий 1905—1906 годов наконец занял свое законное место в Военной галерее 1812 года.

И. Н. ИНЗОВ. По возвращении из поездки на Кавказ и в Крым для Пушкина начался новый, кишиневский, период жизни, охвативший почти три года, с сентября

1820-го по июль 1823 года. Видную роль в нем играл непосредственный начальник поэта генерал-лейтенант Иван Никитич Инзов, состоявший в должности попечителя колонистов юга России, а с июля 1820 года исполнявший также обязанности наместника Бессарабии. Этим и был вызван переезд его канцелярии из Екатеринослава в Кишинев.

Немногие дошедшие до нас сведения о жизни И. Н. Инзова до назначения его на юг России рисуют служебный путь исправного и доблестного офицера. Начав службу 17-летним юношей, Инзов получил боевое крещение в 1789—1791 годах во время турецкой войны, после которой несколько лет он состоял ординарцем и адъютантом фельдмаршала Репнина. В 1799 году Инзов командовал на знойных полях Италии и в снежных ущельях Альп прославившимся доблестью Апшеронским пехотным полком, не раз заслужив похвалы великого Суворова, и в 1804 году, на 20-м году службы, произведен в генерал-майоры. В 1805 году по желанию Кутузова Инзов был назначен дежурным генералом его армии и стал бессменным помощником славного полководца в этой трудной кампании. Потом командовал бригадой и дивизией, участвуя в боевых действиях в Галиции и на Дунае. С начала Отечественной войны состоял начальником штаба 3-й армии (Тормасова), прикрывавшей Киев и не принимавшей значительного участия в боевых действиях лета и осени 1812 года вплоть до разгрома французов на Березине. Зато в 1813 году Инзов, перешедший опять в строй, участвовал в целом ряде сражений и особенно отличился при Бауцене, где со своей дивизией оказал упорное сопротивление корпусу Нея и не раз лично водил полки в штыковую атаку. Вслед за тем он участвовал в трехдневной «битве народов» под Лейпцигом, в осаде Магдебурга и Гамбурга.

Через четыре года после окончания войны состоя-

лось назначение Инзова в Екатеринослав, а еще через два года переехал он в Кишинев. Старый холостяк — ему в 1820 году было 52 года,— генерал Инзов зажил здесь, отдавая много времени обязанностям по управлению краем и посвящая досуг чтению и занятиям естественными науками, которые он очень любил. Двухэтажный каменный дом наместника, стоявший на пригорке над Кишиневом, и прилегавшие к нему большой двор и сад полны были разнообразных птиц, и в клетках и на свободе, а также всевозможных, порой редких, растений.

В этом-то доме, в двух комнатах нижнего этажа, Инзов вскоре поселил Пушкина, за которым высшее петербургское начальство поручило ему наблюдать. В столице, конечно, не думали, что этот начальник окажется до такой степени мягким, заботливым и снисходительным.

Добрый и просвещенный Инзов, в молодости близкий к московскому кружку прогрессивного общественного деятеля писателя Н. И. Новикова, убежденный противник крепостного права и телесных наказаний, был проникнут искренней гуманностью и терпимостью. Он начал свои отношения со ссыльным поэтом с того, что, едва узнав его, отпустил на Кавказ и в Крым. По этому поводу Инзов писал начальству в Петербург: «Расстроенное его здоровье в столь молодые лета и неприятное положение, в коем он, по молодости, находится, требовали, с одной стороны, помощи, а с другой — безвредной рассеянности, а потому отпустил я его с генералом Раевским...»

Как видно из этого письма, приказ «наблюдать» за поэтом Инзов понимал по-своему. Он вкладывал в эти слова самый высокий смысл, он относился к поэту по-отечески. Инзов сумел с первых дней примениться к характеру одинокого юноши, оценить его прямодушие и великий талант. Поселив Пушкина в своем до-

ме, Инзов постоянно приглашал его к своему столу, вел с поэтом серьезные беседы, снабжал его книгами из своей библиотеки, наблюдал за его поведением в обществе. И делал все это со свойственной ему мягкостью и в самой деликатной форме.

Не стесненный систематическим исполнением служебных обязанностей, Пушкин в Кишиневе вел жизнь подвижную, пеструю и разнообразную. В то же время он много и плодотворно работал. Недаром весной 1821 года в стихотворении «Чаадаеву» поэт писал:

В уединении мой своенравный гений
Познал и тихий труд, и жажду размышлений.
Владею днем моим; с порядком дружен ум;
Учусь удерживать вниманье долгих дум;
Ищу вознаградить в объятиях свободы
Мятежной младостью утраченные годы
И в просвещении стать с веком наравне.

В Кишиневе Пушкин часто бывал у командовавшего 16-й пехотной дивизией генерала М. Ф. Орлова, женившегося в 1821 году на знакомой поэта по Гурзуфу старшей дочери Н. Н. Раевского, Екатерине Николаевне. Здесь собирался кружок передовых военных, велись серьезные политические беседы, часто продолжавшиеся в более горячей и откровенной форме на квартире майора В. Ф. Раевского (однофамильца генерала Николая Николаевича), блестяще образованного, революционно настроенного офицера, с которым Пушкин находился в дружеских отношениях. Поэт много читал, беря книги у Инзова, Орлова, Раевского и других, проявлял особый интерес к вопросам общественной мысли, философии, истории и географии.

Кишиневские годы отмечены работой над «Кавказским пленником», «Бахчисарайским фонтаном», «Гавриилиадой», «Братьями-разбойниками». В Кишиневе написаны «Песнь о вещем Олеге», «Черная шаль», «Кинжал» и многие другие стихотворения. Здесь на-

чат «Евгений Онегин» и задуманы «Цыганы». Кроме того, Пушкин находил время учиться молдавскому языку у эконома инзовской усадьбы, пытливо изучал жизнь местного населения, охотно посещал балы молдавских «бояр» и русских чиновников, с увлечением танцевал на них, ночи напролет играл в карты и увлекался тамошними красавицами.

Известен целый ряд столкновений вспыльчивого и самолюбивого поэта с представителями кишиневского общества, в нескольких случаях окончившихся дуэлями, по счастью обошедшимися без пролития крови, но показавшими замечательное бесстрашие Пушкина.

Такова была дуэль поэта с подполковником С. Н. Старовым, происшедшая в январе 1822 года при следующих обстоятельствах. Во время бала в кишиневском казино Пушкин велел оркестру играть мазурку. Вслед за ним один из офицеров крикнул, чтобы играли кадриль. Пушкин вновь повторил: «Мазурку!» — и музыканты послушались его. Присутствовавший Старов решил вступиться за «честь» своего подчиненного и потребовал, чтобы поэт извинился перед ним. Пушкин отказался и получил вызов на поединок. Противники встретились на другое утро в окрестностях Кишинева во время сильной метели, мешавшей им хорошо видеть друг друга. Сделав каждый по два выстрела, они разъехались, решив возобновить дуэль на следующее утро. Но в тот же день секунданты помирили Пушкина и Старова; при этом, по свидетельству современника, известный своей храбростью в 1812—1814 годах подполковник сказал: «Вы, Александр Сергеевич, так же хорошо стоите под пулями, как пишете стихи».

Иногда Инзову удавалось вовремя узнать о готовившемся поединке, например с ревнивым богачом Инглези. Тогда генерал принимал решительные меры: сажал Пушкина под домашний арест, приставив к две-

рям его комнаты часового и в то же время стараясь уладить возникший конфликт. Такое же наказание применял Инзов к поэту и в тех случаях, когда от горожан поступали жалобы на уж очень нашумевшие «шалости» его питомца. Так было, когда, едучи верхом по одной из главных улиц Кишинева и увидев в окне дома хорошенькую девушку, Пушкин, пришпорив коня, въехал прямо на крыльцо и до обморока напугал приглянувшуюся ему особу. Но и в этих случаях добряк Инзов посылал арестованному для развлечения новые журналы и сам приходил к нему побеседовать на различные интересовавшие их обоих темы, вплоть до революционных событий в Испании 1820—1822 годов.

Во все время службы в канцелярии Инзова Пушкин широко пользовался правом отлучек из Кишинева. То он кочевал где-то с цыганским табором, то уезжал к Раевским в Киев, то целый месяц жил в Одессе и, наконец, дважды подолгу гостил в имении Каменка, принадлежавшем братьям Давыдовым, близким родственникам Раевских и Д. В. Давыдова, где собирались члены Южного тайного общества и время делилось, по словам поэта, между «аристократическими обедами и демократическими спорами». И когда во время одного из этих пребываний в Каменке Инзов получил письмо отставного генерала А. Л. Давыдова с извещением, что Пушкин заболел и потому не может к сроку возвратиться в Кишинев, он ответил следующим письмом: «До сего времени я был в опасении о г-не Пушкине, боясь, чтобы он, невзирая на жестокость бывших морозов с ветром и метелями, не отправился в путь и где-нибудь, при неудобствах степных дорог, не получил несчастья. Но, получив почтеннейшее письмо ваше от 15 сего месяца, я спокоен и надеюсь, что ваше превосходительство не позволите ему предпринять путь, поколе не получит укрепления в силах».

Весной 1821 года граф Каподистрия по приказу Александра I запросил Инзова о поведении Пушкина. 28 апреля генерал отвечал секретным письмом, в котором читаем: «Пушкин, живя в одном со мною доме, ведет себя хорошо и при настоящих смутных обстоятельствах[1] не оказывает никакого участия в сих делах. Я занял его переводом на российский язык составленных на французском молдавских законов и тем, равно другими упражнениями по службе, отнимаю способы к праздности... В бытность его в столице он пользовался от казны 700 рублей в год; но теперь не получает сего содержания и, не имея пособия от родителя, при всем возможном от меня вспомоществовании терпит, однако же, иногда некоторый недостаток в приличном одеянии. Посему я долгом считаю покорнейше просить распоряжения вашего о назначении ему отпуска здесь того же жалованья, какое он получал в С.-Петербурге». Как видим, помимо самых благоприятных отзывов о поведении ссыльного поэта Инзов ходатайствовал еще о его материальных делах. И ходатайствовал успешно — просимое им жалованье выплачивалось с этого времени Пушкину вплоть до высылки его из Одессы в село Михайловское. Отметим, что положительные отзывы о поведении поэта генерал давал правительству не один раз.

Пушкин отвечал Инзову глубоким уважением и любовью. За глаза он часто ласкательно называл своего начальника: «Мой Инзушко». Один из знакомцев поэта, наблюдавший его жизнь в Кишиневе и Одессе в 1823—1824 годах, писал: «Иван Никитич привязал к себе Пушкина, снискал доверенность его и ни разу

---

[1] Инзов имел в виду восстание, поднятое против турок Александром Ипсиланти, разыгравшееся близко от Кишинева и возбуждавшее всеобщее внимание в России и за границей. Конечно, и Пушкин живо им интересовался, сочувствуя восставшим грекам.

не раздражал его самолюбия. Впоследствии Пушкин, переселясь в Одессу, при каждом случае говорил об Иване Никитиче с чувством сыновнего умиления. Этому я сам был свидетель».

В «Воображаемом разговоре с Александром I» Пушкин в следующих выражениях противопоставлял Инзова графу Воронцову, под начальство которого он попал в Одессе: «...генерал Инзов добрый и почтенный старик, он русский в душе; он не предпочитает первого английского шалопая всем известным и неизвестным своим соотечественникам... Он доверяет благородству чувств, потому что сам имеет чувства благородные, не боится насмешек, потому что выше их, и никогда не подвергнется заслуженной колкости, потому что он со всеми вежлив...»

В 1823 году Пушкин был переведен в Одессу. Он сам хотел перевода и хлопотал о нем через своих столичных друзей. Ему было душно в надоевшем захолустном Кишиневе; казалось, что богатая приморская Одесса, с ее пестрым населением, оперным театром и новыми знакомствами, даст богатую пищу для наблюдений и станет местом нового творческого подъема. При этом Пушкин надеялся, что пребывание в Одессе будет шагом к столь желанному возвращению из ссылки. Особенно опостылел ему Кишинев после ареста В. Ф. Раевского, обвиненного в революционной агитации среди солдат, и отъезда генерала М. Ф. Орлова, отстраненного от должности в связи с этим делом.

Не мешая поэту поступать сообразно его желанию, Инзов, оставшись в Кишиневе, скучал и беспокоился о его судьбе. Чиновник Вигель, часто видевший генерала в это время, писал в своих записках: «Нередко, разговаривая со мной, вздыхал он о Пушкине, любезном чаде своем. Судьба свела сих людей, между коими великая разница в летах была малейшим препятствием к искренней взаимной любви. Сношения их сде-

лались столь же странными, сколько трогательными и забавными. С первой минуты прибывшего совсем без денег молодого человека Инзов поместил у себя жительством, поил, кормил, оказывал ласки, и так осталось до самой минуты последней их разлуки. Никто так глубоко не умел чувствовать оказываемых ему одолжений, как Пушкин... Его веселый, острый ум оживлял, освещал пустынное уединение старца. С попечителем своим, более чем с начальником, сделался он смел и шутлив, никогда дерзок; а тот готов был ему все простить... Надобно было послушать, с каким нежным участием и Пушкин отзывался о нем. «Зачем он меня оставил? — говорил мне Инзов. — Конечно, иногда в Кишиневе бывало ему скучно, но разве я мешал его отлучкам, его путешествиям по Кавказу, в Крым, в Киев, продолжавшимся несколько месяцев, иногда более полугода. Разве отсюда не мог он ездить в Одессу, когда бы захотел, и жить в ней сколько угодно. А с Воронцовым, право, несдобровать ему».

Близко узнавший великого поэта и полюбивший его Инзов верно предвидел будущее. Впрочем, можно предположить, что в годы долгой военной службы, не раз встречаясь с графом Воронцовым, он составил о его характере определенное, трезвое представление.

Портрет И. Н. Инзова, по всей вероятности, относится к числу заочно исполненных в мастерской Доу; мы не располагаем сведениями, чтобы генерал отлучался с юга России в период создания галереи, в 1819—1828 годах. Но и на этом портрете, написанном с неизвестного нам изображения, лицо Инзова носит печать спокойствия, ума и доброты, проявленных им в отношениях с Пушкиным.

И. В. САБАНЕЕВ. В Кишиневе Пушкин не раз встречался с генерал-лейтенантом Иваном Васильевичем Са-

банеевым, командиром 6-го пехотного корпуса, в состав которого входила пехотная дивизия генерал-майора М. Ф. Орлова. Бывая в Кишиневе, Сабанеев обязательно посещал Инзова как старшего из местных военных чинов, управляющего краем и к тому же знакомого ему по прошлой боевой службе. Во время одного из таких посещений, 5 февраля 1822 года, Пушкин, находясь в соседней комнате, услышал, как Сабанеев говорил Инзову о намеченном назавтра аресте майора В. Ф. Раевского, обвинявшегося в революционной пропаганде среди солдат и в принадлежности к тайному политическому обществу «Союз благоденствия». Инзов горячо отстаивал невиновность Раевского. Убедившись, что Сабанеев имеет предписание об аресте его друга, Пушкин побежал к Раевскому и предупредил его о грозящей опасности. Майор поспешил уничтожить компрометировавшие его и других членов общества бумаги, что, впрочем, не помешало властям после ареста продержать его в заключении более 5 лет и затем сослать в Сибирь.

Следующая известная нам встреча Пушкина с Сабанеевым относится к январю 1824 года, когда поэт уже из Одессы ездил для исторических разысканий в Бендеры и Каушаны. Находясь проездом в Тирасполе, где квартировал штаб 6-го корпуса, Пушкин был приглашен обедать к Сабанееву. По свидетельству его спутника, поэт был остроумен и разговорчив, очень понравился хлебосольной жене генерала и сам нашел занимательной беседу хозяина. Среди потомков Сабанеева сохранилось предание, что от него Пушкин услышал рассказ автобиографического характера, послуживший позже сюжетом для повести «Метель».

Несомненно, Пушкин многократно видел генерала Сабанеева и в Одессе, куда тот часто приезжал по служебным делам. Так, ранней весной 1824 года оба они были на маскараде у генерал-губернатора. Уступая

просьбам Воронцовых, Сабанеев согласился участвовать в этом увеселении, придумав себе весьма оригинальный костюм. Он облекся в статскую одежду и нацепил на фрак многочисленные имевшиеся у него иностранные ордена, не надев при этом ни одного русского. Эта остроумная насмешка над характерным для русского высшего общества преклонением перед всем чужеземным привела Пушкина в восторг: «англомания» Воронцова, столь ненавистная поэту, была в Одессе известна всем.

И. В. Сабанеев принадлежал к числу наиболее видных боевых генералов своего времени. Окончив Московский университет, он 19-летним юношей начал службу в турецкую войну 1790—1791 годов, во время которой отличился храбростью и был отмечен Кутузовым. В суворовском походе 1799 года Сабанеев неизменно командовал передовыми цепями одной из колонн, был дважды ранен в боях при Чертовом мосте и Муттентале, среди тяжелораненых оставлен в Гларисе и взят в плен французами. Выздоровев, Сабанеев возвратился в Россию, привезя проект нового обучения пехоты рассыпному строю, разработанный им на основании опыта последней войны. Проект оказался так хорош и нужен, что вскоре был принят во всей русской армии. Слабость здоровья в результате ранений заставила Сабанеева выйти в отставку, но ненадолго. В 1805—1807 годах, командуя полком в авангарде Багратиона, он вновь зарекомендовал себя бесстрашным и предприимчивым офицером, а в одной из рукопашных стычек был снова ранен (на этот раз штыком в лицо). Участвуя в войне со шведами, Сабанеев находился в составе отряда, перешедшего по льду Ботнический залив, был еще раз ранен и участвовал в целом ряде удачных боев, за что был награжден чином генерал-майора и орденом Георгия III степени. В 1810—1811 годах он участвовал в турецкой войне и особенно

прославился в сражении при Батине, командуя левым крылом русской армии. Блестящие действия Сабанеева при Рущуке и Слабодзее отмечены особыми похвалами Кутузова. При заключении Бухарестского мира он состоял вторым русским уполномоченным. В войну 1812—1814 годов был начальником штаба армии Чичагова и позже Барклая-де-Толли, высоко его ценивших.

Сабанеев отличался гуманностью по отношению к солдатам и исключительной честностью. По фигуре и движениям, маленький, сухой, чрезвычайно живой и деятельный Сабанеев, как пишут современники, несколько напоминал великого Суворова, перед памятью которого он благоговел.

А. Ф. ЛАНЖЕРОН. Вероятно, еще весной 1821 года, приехав на месяц в Одессу из Кишинева, Пушкин познакомился с херсонским военным губернатором и одесским градоначальником, генералом от инфантерии графом Александром Федоровичем Ланжероном, болтливым и общительным 60-летним французом.

Начав службу в королевских французских войсках, 19-летний Ланжерон принял участие в войне за освобождение Северной Америки от владычества Англии и проявил выдающуюся храбрость в сражениях с англичанами. Возвратясь во Францию и эмигрировав во время революции, он поступил в русскую армию, с которой участвовал почти во всех войнах, с 1790 по 1814 год, против шведов, турок и французов. Храбрый генерал и ловкий царедворец, пользовавшийся милостями Екатерины II, Павла и Александра I, Ланжерон в 1811 году был произведен в генералы от инфантерии и в Отечественную войну командовал корпусом. В течение долгой военной карьеры Ланжерон знал и неудачи (при Аустерлице его колонна была почти уничто-

жена), и победы, не раз проявлял он недюжинное военное дарование и достигал значительных успехов. Так, в 1811 году временно, перед назначением Кутузова, командуя Дунайской армией, он взял крепость Рущук и был ближайшим помощником великого полководца в операциях по блокаде и пленению турецкой армии. В 1813 году под Лейпцигом корпус Ланжерона, единственный из всех союзных войск, прорвал фронт армии Наполеона и заставил противника начать отступление. За взятие в 1814 году штурмом господствующих над Парижем Монмартрских высот он получил высший русский орден Андрея Первозванного.

В 1815 году Ланжерон был назначен в Новороссию в качестве преемника своего земляка и друга герцога Ришелье, навсегда уехавшего во Францию. Проведший всю жизнь на войне, Ланжерон не имел ни малейшего представления о гражданских делах, об управлении и устройстве подчиненного ему края, но со свойственным ему легкомыслием нимало этим не смущался и даже не пытался вникнуть в новое для него дело. Один из современников и свидетелей его деятельности характеризует ее так: «С тех пор как свет стоит, неосновательнее графа Ланжерона еще ничего видано не было... Он создан был, чтобы находиться посланником при каком-нибудь немецком или итальянском дворе или управлять где-нибудь придворным театром... Нашли, что он не годится командовать корпусом, и дали ему в управление целый край... Как шли при нем дела, этого не нужно уж спрашивать». По словам другого очевидца последних лет деятельности Ланжерона в Новороссии, его «едва терпели на месте, где он не принес ни малейшего блага и где, потеряв всякое значение, сделался игрушкой в руках всех, кому выгодно было им вертеть».

Граф Ланжерон был известен как увлекательный собеседник и острослов. Однажды после боя он сказал

храброму, но не проявившему должной предприимчивости полковнику: «Вы пороху не боитесь, но вы его и не выдумаете». Будучи исключительно хладнокровен и распорядителен в сражениях, Ланжерон как в делах управления краем, так и в домашнем быту был донельзя забывчив, бездеятелен и анекдотически рассеян. Рассказывали, что, принимая Александра I в своем доме и предоставив царю для занятий свой кабинет, он откланялся и, уходя, по привычке запер дверь на ключ, а сам ушел на далекую прогулку, унеся ключ в кармане. Привыкнув громко беседовать со своей любимой собакой, Ланжерон часто высказывал ей самые сокровенные мысли и замечания по поводу окружающих, забывая о присутствии лиц, которым отнюдь не следовало знать сказанного.

Частые встречи Пушкина с Ланжероном относятся к 1823—1824 годам, когда поэт переехал в Одессу. В это время Ланжерон уже не играл в крае никакой роли (его заменил Воронцов), но продолжал жить в Одессе. Обиженный на царя за свою отставку, Ланжерон не скрывал своих чувств перед Пушкиным и, показывая дружеские письма Александра I, написанные еще в царствование Павла I, жаловался поэту на несправедливость.

Еще в молодости, связанный с литературными кружками Парижа, сочинив и напечатав там комедию, Ланжерон, оказавшийся не у дел в Одессе, вновь принялся писать пьесы, которые отдавал на суд опальному поэту. «Однажды,— рассказывает свидетель их отношений,— сработав трагедию, Ланжерон дал ее Пушкину, чтобы он прочитал и сказал ему свое мнение. Александр Сергеевич продержал тетрадь несколько дней и, как нелюбитель галиматьи, не читал ее. Через несколько времени при встрече с поэтом граф спросил: «Какова моя трагедия?» Пушкин был в большом затруднении и старался отделаться общими выраже-

ниями; но Ланжерон входил в подробности, требуя особенно сказать мнение о двух главных героях драмы. Поэт разными изворотами заставил генерала назвать по имени героев и наугад отвечал, что такой-то ему больше нравится. „Так,— воскликнул восхищенный генерал,— я узнаю в тебе республиканца; я предчувствовал, что этот герой тебе более по душе"».

В те же месяцы Пушкин вел с Ланжероном разговоры о различных политических событиях, например о восстании греков, на это есть указание в письме поэта Вяземскому от 14 апреля 1823 года.

Командуя русскими войсками в 16 кампаниях, Ланжерон так и не научился как следует говорить по-русски. В своей деловой переписке, желая сообщить указ Екатерины II, по которому владельцы соляных разработок могли продавать соль кому угодно и по любой цене, он писал: «Владельцев земли, указуйт Эмператрис Экатерин, продоит своим соли по вольным цена». Эту смешную особенность, так же как привычку вмешивать во французскую речь русские слова, знал за Ланжероном Пушкин. В одном из писем Е. М. Хитрово поэт приводит выражение Ланжерона — «des boumagui» («бумаги»). Прожив почти всю жизнь в России, Ланжерон не стал русским человеком не только по языку. Будучи профессиональным военным и храбро сражаясь под русскими знаменами, в мирное время он совершенно не интересовался жизнью приютившей его страны, не знал и не понимал ее.

Весной 1824 года Ланжерон уехал во Францию, но, утративший всякие связи с родиной, не остался там и возвратился в Россию. В июне 1826 года Николай I назначил его членом суда над декабристами, но сколько-нибудь заметной роли в нем Ланжерон не играл. В 1828—1829 годах он участвовал в турецкой войне, после которой окончательно вышел в отставку. В 1831 году Ланжерон приехал в Петербург, где, вероятно,

вновь встречался с Пушкиным. 4 июля 1831 года он умер от холеры, 68 лет от роду.

Ланжерон оставил записки о войнах, в которых участвовал, представляющие значительный интерес и живо рисующие личность автора, полного едкой критики современников, но не щадившего порой и себя.

Написанный с натуры портрет А. Ф. Ланжерона прекрасно передает его типичную французскую наружность и щеголеватость придворного любезника, прославленного острослова светских салонов.

И. О. ВИТТ. В Одессе же поэт встречался и с генерал-лейтенантом графом Иваном Осиповичем Виттом, начальником военных поселений кавалерии в Новороссийском крае.

С именем Витта связана относящаяся к весне и лету 1824 года попытка Пушкина и его друзей Вяземских устроить на службу в Одессу близкого товарища поэта по Лицею, также поэта и будущего декабриста, В. К. Кюхельбекера. В это время Кюхельбекер, испытавший уже неудачу на нескольких служебных поприщах, жил в Москве, сильно нуждался, давал уроки и подготовлял к изданию альманах «Мнемозина», в котором Пушкин предполагал напечатать поэму «Братья-разбойники». Вместе с приехавшей на лето в Одессу В. Ф. Вяземской Пушкин хлопотал об устройстве Кюхельбекера на службу в канцелярию генерал-губернатора Воронцова, потом к одесскому градоначальнику Гурьеву и, наконец, к Витту. Для представления последнему поэт взялся составить особую записку о Кюхельбекере. По-видимому, дело казалось уже совершенно решенным, так как в своем последнем письме Вяземскому из Одессы, от 15 июля, Пушкин писал: «Кюхельбекер едет сюда — жду его с нетерпеньем». Однако дело почему-то расстроилось. Может быть, из-

за неладов Пушкина с Воронцовым и скорого отъезда поэта из Одессы, а может быть, здесь сказалось отмеченное одним из лиц, хорошо знавших Витта, правило последнего: «Ни в чем не отказывать, но никогда не сдерживать обещанного».

Граф И. О. Витт принадлежал к числу генералов, наименее популярных в обществе и в военной среде. Полуполяк-полугрек, он начал службу в русских войсках, но в 1809—1811 годах находился волонтером в армии Наполеона. Летом 1812 года Витту было поручено сформировать казачью дивизию, с которой он принял участие в военных действиях, не выказав, по показаниям очевидцев, ни военного дарования, ни храбрости. Особую известность Витт приобрел в 1818 году, когда был поставлен во главе создававшихся на юге России военных поселений кавалерии. Он проявил в выполнении этого любимого начинания Александра I рвение, быстроту, а по отношению к солдатам и казакам — жестокость. Он прекрасно умел ладить со своим прямым начальником Аракчеевым, по представлению которогс был произведен в генерал-лейтенанты. Именно к этому времени относится замечание одного из боевых генералов, говорившего Д. В. Давыдову: «Нам нужна война, мой любезный Денис! В мирное время, посмотрите, и Витт становится „колоссальным"».

В 1824—1825 годах Витт вел слежку за членами Южного тайного общества, провокационно действуя сам или через своего доверенного агента, Бошняка. Доносил Александру I о составе общества и его целях. Именно по ложному доносу Витта в конце 1825 года были арестованы сыновья героя 1812 года А. Н. и Н. Н. Раевские, освобожденные через месяц, как не причастные к делу.

Летом 1826 года по приказу Витта в Псковскую губернию был командирован тот же Бошняк с задани-

ем выяснить поведение Пушкина, подозреваемого во «вредной» агитации среди местного населения. С Бошняком ехал и фельдъегерь для препровождения поэта после предполагавшегося ареста в столицу. Однако отзывы окрестных крестьян, содержателей постоялых дворов и других лиц оказались в пользу поэта, и Бошняк уехал ни с чем.

Позже, осыпанный милостями Николая I, Витт был произведен в генералы от кавалерии, награжден высшими орденами и назначен инспектором всей резервной конницы.

Прямодушный П. И. Багратион называл Витта «лжецом и двуличкой», а один из чиновников, наблюдавших его в Одессе, пишет, что «всякого рода интриги были стихией этого человека».

Возможно, что Витта Пушкин встречал и в 30-х годах в Петербурге, в частности в Зимнем дворце, где бывал, приезжая в столицу, этот видный военный сановник николаевской России.

М. С. ВОРОНЦОВ. Когда весной 1823 года в Петербурге стало известно о назначении графа Михаила Семеновича Воронцова новороссийским генерал-губернатором и бессарабским наместником, друзья Пушкина начали хлопотать о переводе его в Одессу. Помимо того, что сам поэт рвался из опостылевшего ему Кишинева, всем заботившимся о его судьбе казалось, что Воронцов — именно тот начальник, который облегчит положение ссыльного поэта и, может быть, через некоторое время исходатайствует ему разрешение вернуться в столицу. В петербургских чиновничье-дворянских кругах у Воронцова была репутация человека хорошо образованного и либерального, созданная его прежней служебной деятельностью.

Сын дипломата, долголетнего русского посла в Лон-

доне, граф М. С. Воронцов воспитывался в Англии, но в 19 лет поступил на военную службу и вскоре начал боевую деятельность на Кавказе, где за храбрость получил орден Георгия IV степени, вынеся из-под ружейного огня раненого товарища. В 1805—1807 годах Воронцов сражался с французами, в 1809—1811 — с турками, отличился под Рущуком, что было отмечено Кутузовым, ходатайствовавшим о награждении его орденом Георгия III степени. С началом Отечественной войны Воронцов получил в командование гренадерскую дивизию, во главе которой бился под Дашковкой и Смоленском.

В Бородинском сражении он оборонял левый фланг русской позиции — Багратионовы флеши — с таким упорством, что к полудню из 4000 гренадер его дивизии в строю осталось 400 человек, большинство офицеров было также перебито, и сам Воронцов серьезно ранен в рукопашной схватке. Привезенный в Москву в один из своих домов, Воронцов увидел большое количество крестьянских подвод, нагруженных имуществом, подготовленным к вывозу. Он приказал оставить все в городе, грузить на подводы раненых (300 солдат и 50 офицеров) и увозить их в его имение во Владимирской губернии. Здесь на протяжении всей войны они жили, здесь их лечили за счет хозяина.

Участвуя в различных боях последующих кампаний, Воронцов особенно отличился в 1814 году в сражении при Краоне, когда в течение целого дня выдерживал натиск превосходящих сил французов, руководимых самим Наполеоном. В тот день, служа примером редкого хладнокровия, Воронцов лично командовал огнем пехоты и артиллерии, бивших с самой близкой дистанции, в 200—400 шагов, по наступавшему врагу. За этот бой он был награжден орденом Георгия II степени.

После окончания войны 32-летний генерал-лейте-

нант Воронцов получил в командование русский корпус, остававшийся во Франции в составе оккупационных союзных войск. В это время в основном он и приобрел репутацию гуманного и либерального генерала, введя исключительную для своего времени мягкость в обращении с солдатами, которых особым приказом запретил бить на учениях, устроил для них школы грамоты и т. д. Это вызвало неудовольствие Александра I, и по возвращении в Россию корпус Воронцова был признан «распущенным», части его были поручены особо строгим генералам с приказом «подтянуть» их, а сам Воронцов два года пробыл без назначения. Только в 1820 году он получил в командование 3-й пехотный корпус. Уже на высоком посту новороссийского генерал-губернатора он два раза был обойден производством в генералы от инфантерии, чем Александр I выказал ему свое давнее неудовольствие.

Непосредственные переговоры с графом Нессельроде, от которого зависел перевод Пушкина в Одессу, вел А. И. Тургенев, доверенный друг семьи поэта и его самого. По странному стечению обстоятельств Тургеневу довелось сыграть видную роль в некоторых событиях из жизни Пушкина. В 1811 году он отвозил мальчика в Лицей, 12 лет спустя хлопотал о переводе опального поэта в Одессу и в 1837 году сопровождал прах Пушкина в Святогорский монастырь.

9 мая 1823 года Тургенев писал Вяземскому, сообщая о назначении Воронцова: «Не знаю еще, отойдет ли к нему и бес арабский [1]. Кажется, он прикомандирован был к лицу Инзова». 31 мая Вяземский спрашивает Тургенева: «Говорили ли вы Воронцову о Пушкине? Непременно надобно бы ему взять его к себе. Похлопочите, добрые люди. Тем более что Пушкин

[1] Игрой слов А. И. Тургенев намекал на прадеда Пушкина, Ганнибала, «арапа Петра Великого».

точно хочет остепениться, а скука и досада — плохие советчики». 3 июня Вяземский вновь спрашивал о том же, и 15 июня Тургенев сообщил: «О Пушкине вот как было. Зная политику и опасения сильных сего мира, следовательно и Воронцова, я не хотел говорить ему, а сказал Нессельроде в виде сомнения, у кого он должен быть: у Воронцова или Инзова? Граф Нессельроде утвердил первого, а я присоветовал ему сказать о сем Воронцову. Сказано — сделано. Я после и сам два раза говорил Воронцову, истолковал ему Пушкина и что нужно для его спасения. Кажется, это пойдет на лад. Меценат, климат, море, исторические воспоминания — все есть: за талантом дело не станет, лишь бы не захлебнулся».

И поначалу все шло превосходно. Приехав в Одессу в начале июля, Пушкин с головой окунулся в столь непохожую на захолустный Кишинев кипучую жизнь большого приморского города, с многолюдным военным и чиновничьим обществом, кружком образованных коммерсантов, с пестрой разноязычной толпой, оперой и ресторациями — со всем, чего он так долго был лишен. Радовало поэта и море, которое он так любил и которое теперь было всегда у него перед глазами.

Первая встреча с Воронцовым прошла вполне благополучно. В письме брату Льву от 25 августа, рассказав о первых одесских впечатлениях, поэт писал: «Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе...» Но в том же письме, обрисовав свое трудное материальное положение и прося подействовать на отца, который ему ничего не посылает, Пушкин добавлял: «На хлебах у Воронцова я не стану жить — не хочу и полно — крайность может довести до крайности...» Очевидно, уже в это время поэт чувствовал резкую разницу между хо-

лодным, чопорным Воронцовым и отечески простым, добрым, заботливым Инзовым.

В течение следующих месяцев Пушкин вращался в одесском обществе, часто бывая во дворце Воронцова или в кругу лиц из ближайшего окружения графа. В числе последних находился давний приятель поэта А. Н. Раевский, состоявший «для поручений» при генерал-губернаторе. Именно к этому периоду относится создание посвященного Раевскому стихотворения «Демон», которое рисует характер его влияния на Пушкина.

Трудно сказать, когда именно начали изменяться к худшему отношения поэта с Воронцовым. По-видимому, это происходило постепенно, но неуклонно в течение целого года. Основной причиной была полная независимость, с которой держался Пушкин, выражавшаяся прежде всего в отсутствии того внешне сдержанного, но безусловного преклонения перед личностью и положением графа, которым были проникнуты все служившие при генерал-губернаторе.

Воронцов, во время Отечественной войны проявивший себя доблестным патриотом, через десять лет, в Одессе, предстал совсем в ином свете. Теперь — это только царский наместник, управляющий обширной областью, не сумевший в своих отношениях к Пушкину подняться выше уровня среднего царского сановника. Генерал-губернатора раздражали едкие эпиграммы на близких ему чиновников и одесское общество, часто рождавшиеся у поэта в виде блестящих экспромтов, которые окружающие тотчас запоминали и передавали графу. Вельможа Воронцов рассматривал Пушкина только как прикомандированного к его канцелярии «неудобного», слишком гордого и независимого чиновника, находившегося к тому же на очень дурном счету у правительства за известное всем свободомыслие. Сам Пушкин летом 1824 года в одном из писем

так определил отношение к нему генерал-губернатора: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаться, думал о себе что-то другое».

Занятия поэтическим творчеством не возвышали Пушкина в глазах аристократа Воронцова, а скорее, наоборот, принижали его. Однако генерал-губернатор мог бы, пожалуй, предложить покровительство этому «коллежскому секретарю» при условии, что он будет податлив и почтителен, станет «его поэтом». Но именно покровительства, чуть презрительного меценатства, и не желал Пушкин. Он не хотел и не мог воспевать личность Воронцова и его таланты, он требовал к себе должного уважения и как человек, и как поэт. В июне 1824 года, отвечая на письмо Вяземского, решившего организовать журнал, в котором они могли бы сплотить своих единомышленников, и, по-видимому, выяснявшего у поэта возможность создания такого журнала в Одессе, Пушкин писал: «...на Воронцова нечего надеяться. Он холоден ко всему, что не он; а меценатство вышло из моды. Никто из нас не захочет *великодушного покровительства просвещенного вельможи*, это обветшало вместе с Ломоносовым. Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима».

В те же дни в письме к правителю графской канцелярии Казначееву, искренне расположенному к поэту, Пушкин, с трудом сдерживая накипевшее раздражение, писал: «Вы говорите мне о покровительстве и о дружбе. Это две вещи несовместимые. Я не могу, да и не хочу претендовать на дружбу графа Воронцова, еще менее на его покровительство: по-моему, ничто так не бесчестит, как покровительство, а я слишком уважаю этого человека, чтобы желать унизиться перед ним... Я устал быть в зависимости от хорошего или дурного пищеварения того или другого начальника, мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относят-

ся с меньшим уважением, чем к любому юнцу-англичанину...»

Но существовала и другая причина взаимного нерасположения Пушкина и Воронцова. Она заключалась в отношениях поэта к жене генерал-губернатора Елизавете Ксаверьевне (урожденной графине Браницкой). Ей посвящены стихи: «Сожженное письмо», «Талисман», «Ангел» и «В последний раз твой образ милый...». Некоторые черты Воронцовой поэт придал Татьяне Лариной. Сведениями о ней живо интересовался он в годы, последовавшие за жизнью в Одессе. Воронцова подарила Пушкину перстень с восточной надписью, с которым он никогда не расставался (после смерти Пушкина он принадлежал В. А. Жуковскому, потом И. С. Тургеневу). Есть сведения, что Воронцова была готова содействовать Пушкину в задуманном им бегстве из Одессы. Наконец, она писала ссыльному поэту в село Михайловское, но эти письма (кроме одного) не дошли до нас.

Наружность Воронцовой и то впечатление, которое она производила, описывает в следующих словах постоянно видевший ее в Одессе чиновник: «Ей было уже за 30 лет, а она имела все право казаться моломоденькою. Долго, когда другим мог бы надоесть свет, жила она девочкой при строгой матери в деревне; во время первого путешествия за границу вышла она за Воронцова, и все удовольствия жизни разом предстали ей и окружили ее. Со врожденным легкомыслием и кокетством желала она нравиться, и никто лучше ее в том не успевал. Молода она была душой, молода и наружностью. В ней не было того, что называется красотою; но быстрый, нежный взгляд ее миленьких небольших глаз пронзал насквозь; улыбка ее уст, которой подобной я не видел, казалось, так и призывает поцелуй».

Портрет Воронцовой, исполненный Хатером в 1832

году, выставлен в залах английской живописи Эрмитажа. На нем графиня изображена в малиновом берете, столь тесно связанном с обликом Татьяны Лариной.

О подлинном характере отношений Воронцовой к Пушкину судить очень трудно. Существуют веские основания думать, что графиня отдавала свое расположение не поэту, а его другу, А. Н. Раевскому, уже давно в нее влюбленному, и что Пушкин был для этой четы как бы ширмой, отвлекавшей подозрения ревнивого Воронцова. Косвенным указанием, что Пушкину стало известно вероломство Раевского, служит стихотворение «Коварность».

Между тем резкие высказывания поэта по адресу правительства и царя доходили и до Воронцова и до Петербурга, подготовляя новую ссылку Пушкина. В марте 1824 года Вяземский писал своему другу: «Сделай милость, будь осторожен на язык и перо. Не играй своим будущим. В случае какой-нибудь непогоды, Воронцов не отстоит тебя и не защитит...» При этом Вяземский, конечно, не знал о всех оттенках отношений поэта с генерал-губернатором и того, что Воронцов уже не раз представлял в Петербург записки о переводе Пушкина из Одессы, мотивируя свое предложение дурным влиянием на поэта окружающей среды и маскируя свое личное отрицательное к нему отношение заверениями о пользе такого перевода для его таланта.

Но предостерегать Пушкина было поздно. Именно в середине марта он отправил в Москву неосторожное письмо, в котором сообщал, что берет у одного из одесских знакомых «уроки чистого атеизма», и насмешливо отзывался о догматах христианства. Это письмо, полное остроумной насмешки над религией, было легкомысленно оглашено петербургскими приятелями поэта и послужило в скором времени при решении

его судьбы крайне важным материалом для обвинения.

А в конце мая в Одессе разыгралась история, явившаяся актом своеобразной мести Воронцова: Пушкина послали на борьбу с опустошавшей Новороссию саранчой. Вот как, в общем верно, рассказывает об этом один из свидетелей, уже упоминавшийся нами Вигель: «Через несколько дней по приезде моем в Одессу встревоженный Пушкин вбежал ко мне и сказал, что ему готовится величайшее неудовольствие. В это время несколько самых низших чиновников из канцелярии генерал-губернаторской, равно как и из присутственных мест, отряжено было для возможного истребления ползающей по степи саранчи; в число их попал и Пушкин. Ничего не могло быть для него унизительнее... Для отвращения сего добрейший Казначеев медлил исполнением, а между тем ходатайствовал об отменении приговора. Я также заикнулся на этот счет: куда там! Он (т. е. Воронцов.— *Авт.*) побледнел, губы его задрожали, и он сказал мне: «Любезнейший Филипп Филиппович, если вы хотите, чтобы мы остались в прежних приязненных отношениях, никогда не упоминайте об этом мерзавце»,— а через минуту прибавил: «...также и о достойном друге его Раевском». Последнее меня удивило и породило во мне много догадок».

Получив приказание отправиться в командировку, Пушкин письменно обратился к Казначееву, прося освободить его от поездки, ссылаясь на неспособность к службе и нездоровье. Однако после личного объяснения с Воронцовым и по совету А. Н. Раевского все же поехал. Но, возвратясь, написал Воронцову резкое письмо, по некоторым сведениям продиктованное тем же Раевским, требуя немедленной отставки. Поэту дано было знать, что отставка зависит от министра иностранных дел Нессельроде, в подчинении у которого он продолжал числиться. А между тем Воронцов пи-

сал в Петербург, уже прямо требуя удаления из Одессы Пушкина, как человека беспокойного и «неблагонамеренного». Мы знаем, что почва для приговора была подготовлена и неосторожностью поэта, и более ранними представлениями генерал-губернатора.

Очень возможно, что Воронцову была в это время уже известна эпиграмма Пушкина, основанная на случае, происшедшем в октябре 1823 года. Во время царского смотра в Тульчине, когда Александр I сообщил собравшимся на обед генералам об аресте вождя испанской революции Риэго, позже казненного, и все встретили эту весть молча, один Воронцов воскликнул: «Какое счастливое известие, государь!»

Пушкин описал это так:

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь, Риэго, был удавлен.
«Я очень рад, — сказал усердный льстец, —
От одного мерзавца мир избавлен».
Все смолкнули, все потупили взор,
Всех рассмешил проворный приговор.
Риэго был пред Фердинандом грешен,
Согласен я. Но он за то повешен.
Пристойно ли, скажите, сгоряча
Ругаться нам над жертвой палача?
Сам государь такого доброхотства
Не захотел улыбкой наградить:
Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

14 июля, сообщая А. И. Тургеневу о последних событиях своей жизни, Пушкин писал: «Вы уже узнали, думаю, о просьбе моей в отставку; с нетерпеньем ожидаю решения своей участи и с надеждой поглядываю на ваш север. Не странно ли, что я поладил с Инзовым, а не мог ужиться с Воронцовым; дело в том, что он начал вдруг обходиться со мной с непристойным неуважением, я мог дождаться больших неприятностей и своей просьбой предупредил его желания. Воронцов — вандал, придворный хам и мелкий эгоист».

В это время Пушкин еще надеялся, что его отпустят в отставку и, получив свободу, он сможет уехать, куда захочет. Поэт не знал, что 8 июля уже состоялось решение его участи. По докладу Нессельроде, получившего последнее письмо Воронцова, Александр I приказал исключить Пушкина из службы и сослать в псковскую деревню его отца, под надзор полиции.

1 июля Пушкин выехал из Одессы, дав градоначальнику подписку, что обязуется ехать вплоть до Пскова по указанному маршруту. Очевидно, в последние дни пребывания в Одессе, когда негодование против Воронцова достигло высшей точки, поэт заклеймил графа известной эпиграммой:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Воронцов долго злобился на Пушкина. Когда уже в апреле следующего, 1825 года В. Ф. Вяземская просила графа о приеме на службу одного из своих знакомых, Воронцов, зная дружбу Вяземских с великим поэтом, прежде всего осведомился, не связан ли какнибудь рекомендуемый ему человек с Пушкиным.

Добавим еще, что и с А. Н. Раевским Воронцов разделался примерно тем же методом, как с Пушкиным. Летом 1828 года, желая прекратить продолжавшееся увлечение Раевского графиней, принявшее, повидимому, скандальный характер, генерал-губернатор сообщил в Петербург, что Раевский дурно отзывается о правительстве и злобно критикует ведение военных операций шедшей в это время турецкой войны. Результатом был приказ выслать Раевского из Одессы в Полтаву к отцу, под надзор полиции, с запрещением въезда в обе столицы. Письмо старого генерала Н. Н. Раевского Николаю I, в котором он горячо оспаривал «не-

благонадежность» сына, но не отрицал его «несчастной страсти» к Воронцовой, результата не имело.

Портрет Воронцова, представленный в галерее, передает благообразный облик этого вельможи, «внешне утонченно вежливого, но внутренне надменного», по свидетельству хорошо знавшего его современника. Вероятно, к этому англоману Доу чувствовал особенную симпатию. Другой портрет Воронцова, исполненный известным английским художником Лоуренсом, можно видеть в зале английской живописи Эрмитажа. Он написан в 1821 году в Лондоне.

Но и позже Воронцов часто бывал в Англии, с английской аристократией его соединяли крепкие родственные связи — единственная сестра графа была замужем за лордом Пемброком.

Е. Ф. КЕРН. В июне 1825 года поэт, уже около года томившийся в глуши Псковской губернии, встретил у своих соседей Осиповых, в имении Тригорском, приехавшую погостить их родственницу, 25-летнюю красавицу Анну Петровну Керн.

Сильное чувство к Анне Петровне, охватившее Пушкина, заставило его на время забыть все прежние увлечения. Памятником этого чувства является прославленное стихотворение «Я помню чудное мгновенье...» и ряд писем к Керн, написанных в августе — декабре 1825 года.

История жизни А. П. Керн характерна для ее времени и среды. Семнадцатилетней девушкой она была выдана самодуром-отцом, помещиком Полторацким, за 52-летнего генерал-майора Ермолая Федоровича Керна. Полторацкому такой брак казался «прекрасной партией», но, естественно, он не мог быть счастливым. Не только разница в возрасте разделяла супругов — они не имели ничего общего ни в интересах,

ни во вкусах. Молодая женщина была начитанна, сентиментальна, мечтательна и простодушна. Ей трудно было ужиться с годившимся ей почти что в деды малообразованным и грубым человеком. Все мысли и разговоры сводились у него к строевой, плац-парадной службе, отношению к нему начальства, с которым по своему заносчивому и строптивому характеру генерал плохо ладил.

Потомок выходцев из Англии, Е. Ф. Керн начал службу в 16 лет, участвовал в ряде войн, начиная с 1790 года, отличался храбростью, был три раза ранен; более четверти века тянул лямку пехотного офицера и наконец в 1813 году получил чин генерал-майора. После Отечественной войны командовал бригадой и дивизией, а с 1823 года состоял рижским комендантом.

Первое знакомство Пушкина с Анной Петровной относится к 1819 году. Генерал с молодой женой приезжал в Петербург хлопотать о новом назначении после столкновения с командиром корпуса, которое привело к отстранению Керна от командования дивизией. На вечере в литературном салоне Олениных поэт встретил юную А. П. Керн, и она запечатлелась в его памяти «как мимолетное виденье, как гений чистой красоты».

Вторая встреча произошла в Тригорском. Целый месяц гостила Анна Петровна у Осиповых, виделась с поэтом очень часто, побывала со своими родственниками у него в Михайловском. Она слушала чтение Пушкиным только что законченных «Цыган» и других стихов и сама пела поэту. В это время их взаимное увлечение достигло такой силы, что П. А. Осипова нашла нужным увезти свою молодую племянницу в Ригу, к мужу. О том, каким всепоглощающим чувством был охвачен в то время Пушкин, свидетельствуют письма поэта, посылаемые из Михайловского.

Через два дня после отъезда Керн поэт писал

уехавшей вместе с нею ее двоюродной сестре: «Каждую ночь гуляю я по саду и говорю себе: она была здесь — камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе, подле ветки увядшего гелиотропа... Мысль, что я для нее ничего не значу, что пробудив и заняв ее воображение, я только тешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее ни более задумчивой среди ее побед, ни более грустной в дни печали... нет, эта мысль для меня невыносима; скажите ей, что я умру от этого,— нет, лучше не говорите, она только посмеется надо мной, это очаровательное создание. Но скажите ей, что если в сердце ее нет скрытой нежности ко мне, таинственного и меланхолического влечения, то я презираю ее, слышите? да, презираю, несмотря на все удивление, которое должно вызвать в ней столь непривычное для нее чувство...»

В первом письме, адресованном самой Анне Петровне, Пушкин писал: «Ваш приезд в Тригорское оставил во мне впечатление более глубокое и мучительное, чем то, которое некогда произвела на меня встреча наша у Олениных. Лучшее, что я могу сделать в моей печальной деревенской глуши,— стараться не думать больше о вас...»

В следующих письмах к А. П. Керн преобладает шутливый тон, за которым кроется, однако, все то же чувство. Так, 28 августа, прося Анну Петровну вновь приехать в Тригорское, Пушкин писал: «...если вы приедете, я обещаю вам быть любезным до черезвычайности — в понедельник я буду весел, во вторник восторжен, в среду нежен, в четверг игрив, в пятницу, субботу и воскресенье буду чем вам угодно, и всю неделю — у ног ваших».

В ответных письмах А. П. Керн, переживавшей очень трудный период отношений с ненавистным мужем, а также и в письмах Пушкина постоянно упоми-

нается имя генерала. В большинстве случаев поэт пишет в том же полушутливом тоне, именуя его то «бедным мужем», то «проклятым Керном». В письме от 14 августа читаем: «Если бы вы знали, какое отвращение, смешанное с почтительностью, испытываю я к этому человеку. Божественная, ради бога, постарайтесь, чтобы он играл в карты и чтобы у него сделался приступ подагры... Это моя единственная надежда!» И дальше: «Достойнейший человек этот г-н Керн, почтенный, разумный и т. д.; один только у него недостаток — то, что он ваш муж...»

А в другом письме: «Если ваш супруг очень вам надоел, бросьте его, но знаете как? Вы оставляете там все семейство, берете почтовых лошадей на Остров и приезжаете... куда? в Тригорское? вовсе нет; в Михайловское! Вот великолепный проект, который уж с четверть часа дразнит мое воображение. Вы представляете себе, как я был бы счастлив?.. Представляете себе удивление вашей тетушки? Последует разрыв. Вы будете видеться с вашей кузиной тайком, это хороший способ сделать дружбу менее пресной, а когда Керн умрет — вы будете свободны как воздух...»

В начале октября Анна Петровна вновь приехала в Тригорское, на этот раз с мужем, который здесь познакомился с Пушкиным. В письме от 10 октября своему приятелю А. Н. Вульфу (сыну П. А. Осиповой от первого брака) поэт писал: «Вы, конечно, уже знаете все, что касается до приезда Анны Петровны. Муж ее очень милый человек, мы познакомились и подружились». Но в действительности было иначе. Сама А. П. Керн кратко сообщала, что Пушкин «очень не поладил с мужем».

Вскоре по возвращении супругов в Ригу Анна Петровна решила навсегда оставить мужа и переехать в Петербург. Перед отъездом она послала поэту сочинения Байрона, которые он давно хотел иметь. Отвечая,

Пушкин писал 8 декабря: «Вас, именно вас, посылает мне всякий раз судьба, дабы усладить мое уединение. Вы — ангел-утешитель, а я — неблагодарный, потому что смею еще роптать. Вы *едете* в Петербург, и мое изгнание тяготит меня более, чем когда-либо». И через несколько строк: «Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки и снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны...»

Это — последнее из семи дошедших до нас писем поэта А. П. Керн, замечательных писем, о которых один из исследователей жизни и творчества Пушкина говорит: «Прочитав эти письма, каждый скажет, что их пишет не только влюбленный до безумия человек, но и человек необыкновенный. Тут раскрывается вся душа его, как у всякого в порыве страсти. Все вообще его приятельские письма отличаются необыкновенным остроумием, неожиданными оборотами речи, шутливым тоном, даже и тогда, когда, кажется, совсем бы не до шутки; но в письмах к любимой женщине все это еще усиливается, а между тем здесь слышится и бешеная любовь, и нежность, и опасения, и подозрения, и ревность,— и ничего нет натянутого, фальшивого, принужденного».

В Петербурге Анна Петровна очень подружилась с сестрой поэта Ольгой Сергеевной, братом Львом, а также с ближайшим другом Пушкина— А. А. Дельвигом и его женой. Возвратясь из ссылки, Пушкин часто бывал у А. П. Керн. В 1829 году, однажды приехав к ней, он написал, сидя на низкой скамеечке, стихотворение «Приметы»:

Я ехал к вам: живые сны
За мной вились толпой игривой...

Генерал Керн неоднократно пытался вернуть свою жену к «супружескому долгу» и решительно отказывал ей в материальной помощи. Не имея никаких средств к жизни, Анна Петровна писала высшему военному начальству, прося воздействовать на скупого старика, но он в свою очередь отвечал длинными прошениями, обвиняя во всем жену.

Генерал Керн пережил Пушкина. Уволенный в отставку в конце 1837 года, он умер в 1841 году в возрасте 75 лет.

Дожив до глубокой старости, А. П. Керн оставила записки о своем знакомстве с поэтом. Они отличаются точностью, правдивостью и скромностью в оценке своей роли в этот период жизни Пушкина.

Портрет Е. Ф. Керна хорошо передает нерусский тип его характерного, немолодого лица. Видя этот портрет в галерее, поэт, вероятно, вспоминал свою встречу с генералом в Тригорском и те чувства, которые он тогда к нему испытывал.

И. И. ДИБИЧ. Осенью 1826 года окончилась наконец ссылка Пушкина. Новый царь, только что расправившийся с декабристами, захотел с ним увидеться, чтобы попытаться «приручить» поэта. «Железная рука Николая облекалась порой в бархатную перчатку»,— пишет один из исследователей жизни Пушкина.

К псковскому губернатору был послан фельдъегерь с секретным приказом немедленно отправить поэта в Москву, где после коронации находился Николай I. В приказе, подписанном начальником Главного штаба генералом от инфантерии бароном Иваном Ивановичем Дибичем, говорилось, что везти Пушкина надо «в своем экипаже, свободно, не в виде арестанта, в сопровождении только фельдъегеря».

Извещенный губернатором поэт выехал из села

Михайловского утром 4 сентября и в тот же день, уже вместе со своим неизбежным спутником, отправился дальше в родной город, в котором не бывал столько лет. Проскакав свыше 700 верст в четверо суток, утром 8 сентября Пушкин прибыл в Москву и явился, как было приказано, вместе с фельдъегерем к дежурному генералу, который немедленно известил о том Дибича. Начальник Главного штаба ответил распоряжением доставить Пушкина к 4 часам того же дня в его, Дибича, комнаты в Чудовом дворце, в котором жил Николай I и ближайшие лица его свиты.

Вероятно, именно Дибич ввел усталого с дороги и встревоженного поэта в кабинет царя. По свидетельству самого Николая I, на его первый вопрос, заданный при этом свидании: «Что бы ты сделал, если бы 14 декабря был в Петербурге?» — Пушкин не задумываясь ответил: «Стал бы в ряды восставших,— все мои друзья были там». Этим начался двухчасовой разговор царя с поэтом, в котором, между прочим, на замечание Пушкина о нелепых строгостях цензуры Николай I приказал присылать все, что будет написано, к нему лично, «милостиво» пообещав «сам быть цензором» поэта и тем установив новую форму царского контроля над его творчеством.

Генерал Дибич с 1823 года состоял начальником Главного штаба и уже не в первый раз «принял участие» в судьбе Пушкина. Летом 1825 года в ответ на ходатайство матери и друзей поэта о разрешении ему приехать для лечения в одну из столиц Дибич по приказу Александра I сообщил им, что Пушкину позволяется лечиться... в Пскове. Решение это для поэта было крайне тягостным.

В первые месяцы 1826 года во время следствия по делу декабристов выяснилось, какое большое влияние имели сочинения Пушкина на многих из арестованных, и это вызвало особый интерес к великому поэту

со стороны Николая I, решавшего, следует ли привлечь Пушкина к ответственности или выгоднее попытаться сделать его «своим». Будучи одним из наиболее доверенных слуг царя, Дибич в это время являлся тем лицом, которому доставлялись сведения о Пушкине для ознакомления с ними Николая I. Он докладывал царю весной 1826 года сообщение петербургского генерал-губернатора о ставшем известным нежелании Пушкина печатать законченного им «Бориса Годунова» до разрешения приехать в Петербург или Москву. Дибич же следил за выходом в свет сочинений поэта, ему доносили о передаче П. А. Плетневу для печатания в Москве поэмы «Цыганы». Через Дибича были представлены Николаю I написанные Ф. Булгариным доклады-доносы о Царскосельском лицее и обществе «Арзамас», где видное место уделялось Пушкину и его «крамольному духу». Дибичу, уже после приезда поэта в Москву, доставлялись выписки из перлюстрированных писем, в которых говорилось о Пушкине. На них сохранились надписи начальника Главного штаба: «Для объяснений с генералом Бенкендорфом». Эти пометки определяют время, когда Дибич стал передавать материалы по наблюдению за великим поэтом в руки нового лица — Бенкендорфа.

Нам неизвестно, встречался ли Пушкин с Дибичем до осени 1826 года, но, вероятно, поэт слышал о нем хотя бы от Н. Н. Раевского-младшего, состоявшего одно время адъютантом Дибича.

Сын прусского генерала, принятого на русскую службу при Павле I, И. И. Дибич, окончив Берлинский кадетский корпус, начал службу в русских войсках в 1801 году. Пробыв несколько лет в строю, он перешел на штабную работу и выдвинулся на ней энергией и смелостью во время войн 1807—1814 годов, быстро пройдя служебный путь до чина генерал-лейтенанта включительно. В 1823 году Дибич заменил начальника

Главного штаба П. М. Волконского, не ужившегося с Аракчеевым, и прекрасно поладил с этим неизменным любимцем Александра I. К Дибичу в 1825 году поступали доносы о тайных политических обществах, и в декабре этого года по его приказу произведены аресты на юге России. В 1829 году, командуя русской армией в войне с Турцией, Дибич перешел Балканы и под Адрианополем заключил выгодный для России мир. Среди милостей, которыми он был за это осыпан, был и титул графа Дибича-Забалканского. Назначенный главнокомандующим при подавлении Николаем I польского восстания 1830—1831 годов, Дибич не оправдал надежд, возлагавшихся на него царем. Проявленные им нерешительность и вялость привели Николая I в бешенство. Отставка Дибича была решена, но он не дожил до нее: Дибич умер от холеры в мае 1831 года.

В письмах Пушкина этого времени мы находим много упоминаний о полководческих неудачах Дибича и о его смерти, занимавших тогдашнее столичное общество.

Портрет Дибича в галерее передает его наружность в крайне смягченном и приукрашенном виде. Маленький, кривобокий, неуклюжий, с короткой шеей и огромной головой, багрово-красным лицом и длинными ярко-рыжими волосами, чрезвычайно неряшливый, с неясной, отрывистой речью, вспыльчивый и крикливый, часто нетрезвый, пруссак Дибич был крайне непопулярен в армии. В войсках передавали характерное замечание Павла I, который будто бы сказал: «Фигура поручика Дибича наводит уныние на целую роту».

А. Х. БЕНКЕНДОРФ. С осени 1826 года постоянным посредником в сношениях Николая I с Пушкиным стал генерал-лейтенант Бенкендорф, незадолго до этого воз-

главивший вновь созданную политическую полицию — III отделение царской канцелярии и корпус жандармов. По выражению одного из историков жизни и творчества Пушкина, «с этого времени фигура Бенкендорфа становится рядом с поэтом и неотступно сопровождает его уже до самой могилы».

Не понимая исключительного национального значения Пушкина, Николай I и Бенкендорф видели в нем только пользующегося огромным влиянием опасного вольнодумца, за которым нужно было неотступно следить. Выполняя волю царя, Бенкендорф через своих агентов осуществлял систематическую слежку за всеми действиями Пушкина, а в частых письмах и при встречах не забывал напоминать поэту об «особом внимании» к нему Николая I и том поведении, которого от него требовали.

Первым и очень типичным образцом долголетних отношений шефа жандармов с поэтом явилось письменное замечание Пушкину за то, что он читал в дружеском кругу «Бориса Годунова», еще неизвестного высочайшему цензору. А по ознакомлении Николая I с этим гениальным произведением, Бенкендорф сообщил поэту, что царь советует переделать его «в историческую повесть или роман, наподобие Вальтер-Скотта». Вот каковы были художественные вкусы этих «высоких» ценителей!

Одновременно Бенкендорф известил поэта о прочтении царем записки Пушкина «О народном воспитании», составление которой явилось для Пушкина как бы политическим экзаменом. Шеф жандармов язвительно писал другу и единомышленнику недавно сосланных декабристов: «Его величество при сем заметить изволил, что принятое вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее вас самих на край пропасти и

повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то основаниях должно быть основано благонравственное воспитание».

Вскоре Бенкендорф получил от редактора альманаха «Северные цветы» Дельвига для представления Николаю I поэму Пушкина «Цыганы», часть III главы «Евгения Онегина» и стихотворение «19 октября» 1825 года. Бенкендорф письменно выразил великому поэту «крайнее удивление», что он не сам доставил свои стихи, а «избрал посредника в сношениях, основанных на высочайшем соизволении».

История отношения Бенкендорфа к Пушкину, длившаяся более десяти лет, — это длинная цепь придирок, замечаний и выговоров. К шефу жандармов, и только к нему, должен был обращаться поэт по поводу напечатания своих произведений, да и других дел, требовавших разрешения властей. Так, весной 1828 года именно через Бенкендорфа Пушкин просил царя о зачислении его волонтером в армию, действовавшую против турок, и от него же получил отказ с мотивировкой, что «все места уже заняты». Это не помешало Бенкендорфу тогда же предложить Пушкину службу в своей личной походной канцелярии, от которой он, конечно, отказался.

Считалось, что поэт «прощен» и свободен, но когда летом следующего года он, не спросясь Бенкендорфа, поехал в Тифлис и оттуда в армию Паскевича, где служил его брат, шеф жандармов по возвращении грозно запросил: «По чьему позволению предприняли вы сие путешествие?» Пушкину приходилось оправдываться и извиняться. При этом Бенкендорф, сообщавший, что Николай I будто бы только из газет узнал о поездке поэта, безбожно лгал. Об отъезде Пуш-

кина шеф жандармов (а за ним, конечно, и царь) был осведомлен своими агентами вполне своевременно и тотчас отдал распоряжение о строжайшем тайном надзоре за Пушкиным в Москве, по дороге, в Тифлисе и в армии.

В начале 1830 года Пушкин просил Бенкендорфа разрешить ему путешествие в Италию или Францию, а в случае отказа в этой просьбе прикомандировать к посольству, отправлявшемуся в Китай. Ответ шефа жандармов гласил, что Николай I не согласился на поездку поэта за границу, «полагая, что это очень расстроит его денежные дела и в то же время отвлечет от занятий». Отказано было и в прикомандировании к посольству. А когда в марте того же года поэт, предупредив о своем намерении Бенкендорфа, встретившегося на улице, уехал из Петербурга в Москву, он тотчас получил строгий запрос о причине поездки с требованием объяснений, почему она не была письменно согласована с шефом жандармов.

Придя в отчаяние от такой «заботливости», Пушкин писал Бенкендорфу 24 марта: «Несмотря на четыре года поведения безупречного, я не смог приобрести доверия власти! С огорчением вижу я, что всякий шаг мой возбуждает подозрение и недоброжелательство... Удостойте хоть на минуту войти в мое положение и посмотрите, как оно затруднительно. Оно так непрочно, что каждую минуту я чувствую себя накануне несчастия, которого не могу ни предвидеть, ни избежать». В этом же письме Пушкин сообщал Бенкендорфу об оскорбительных нападках на него пресловутого журналиста Ф. Булгарина, хвалившегося близостью к шефу жандармов, и в заключение просил разрешения поехать в Полтаву для свидания со своим другом генералом Н. Н. Раевским-младшим. В ответе шефа жандармов сообщалось, что он отнюдь не считает положение поэта непрочным, что от него самого за-

висит сделать его еще более устойчивым, что никто не оказывает на него, Бенкендорфа, влияния во вред Пушкину и т. д. Что же касается поездки в Полтаву, то царь безусловно запрещает ее, так как «имеет основания быть недовольным поведением» Раевского. При этом Бенкендорф опять писал заведомую ложь: Булгарин, давний и постоянный сотрудник III отделения, наушничал своему патрону на ненавистного ему поэта, и как раз в это время Бенкендорф в своих докладах Николаю I всячески оправдывал Булгарина и чернил Пушкина.

Через месяц, в связи со своей помолвкой, поэт обратился к шефу жандармов с новым письмом. Он сообщал о затруднительном положении по отношению к родным своей невесты Н. Н. Гончаровой, которым известно недоверие к нему правительства, и писал, что мать невесты «боится отдать ее за человека, который на дурном счету» у царя. Бенкендорф отвечал полным лицемерия письмом, начав его сообщением об удовлетворении, испытанном Николаем I при известии о предстоящей женитьбе поэта. Далее читаем: «Что же касается вашего положения по отношению к правительству, то я могу только повторить то, что я говорил вам уже столько раз: я нахожу, что оно вполне согласуется с вашими интересами, в нем не может быть ничего ни фальшивого, ни сомнительного, если, конечно, вы сами не захотите сделать его таковым. Его величество император, с истинно отеческим благоволением к вам, соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу,— не как шефу жандармов, но как человеку, которому он изволит оказывать доверие,— наблюдать за вами и руководствовать вас советами. Никогда никакая полиция не получала приказаний следить за вами. Советы, которые я время от времени давал вам как друг, могли быть вам только полезны, и я надеюсь, что вы убедитесь в этом со временем еще

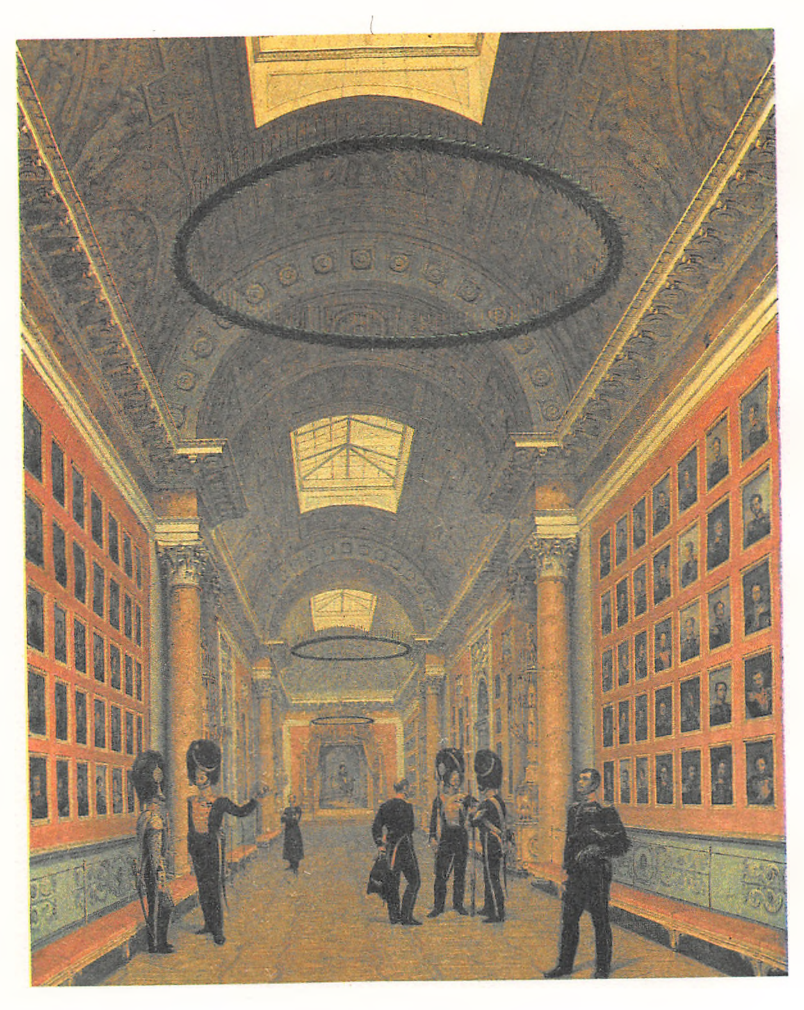
больше. Какие же теневые стороны можно найти в вашем положении в этом отношении?..»

Ничто не изменилось и после женитьбы Пушкина — по-прежнему поэт должен был при каждом сколько-нибудь значительном шаге в своей жизни обращаться за разрешением к Бенкендорфу. Именно ему писал Пушкин в 1831 году по поводу поступления своего на государственную службу, и от Бенкендорфа (после доклада царю) исходило распоряжение об определении жалованья нового чиновника. К нему же в июне 1834 года обращается поэт, уже носящий звание камер-юнкера царского двора и тем обязанный участвовать в дорогостоящей придворной и светской жизни, с просьбой исходатайствовать ему отставку. И того же шефа жандармов просит он не давать хода отставке после грозного уведомления, что его не будут «удерживать против воли», но воспретят доступ в государственные архивы, столь нужные Пушкину для работы; Бенкендорфа через год просит поэт, задыхаясь в тисках материальных затруднений, о длительном отпуске, и от него же получает холодный ответ, что без отставки такой отпуск невозможен.

От усмотрения Бенкендорфа продолжало зависеть опубликование произведений Пушкина, удовлетворение его просьб о ссудах на их напечатание, разрешение участвовать в журналах и т. д. Больно и горько читать просьбы величайшего русского поэта, обращенные к бездушному и надменному чиновнику, и еще тяжелее знакомиться с ответами шефа жандармов, полными придирчивой взыскательности и оскорбительно высокомерной вежливости. Мы знаем теперь, с каким недоброжелательством и неизменно холодным пренебрежением перетолковывал Бенкендорф в своих докладах царю каждую просьбу, каждый шаг Пушкина, рисуя его легкомысленным, расточительным и неблагодарным.



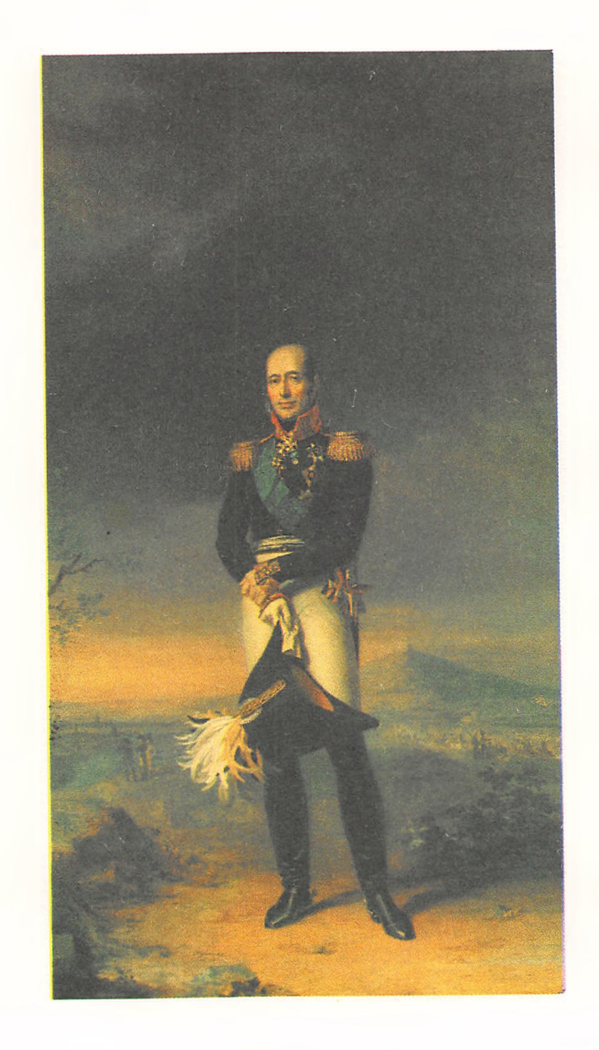
В. Тропинин.
Портрет А. С. Пушкина



Г. Чернецов.
Военная галерея Зимнего дворца, 1827 г.



М. И. Кутузов



М. Б. Барклай-де-Толли



Д. В. Давыдов



Н. Н. Раевский



С. Г. Волконский



И. Н. Инзов



И. В. Сабанеев



М. С. Воронцов



А. П. Ермолов



П. И. Багратион



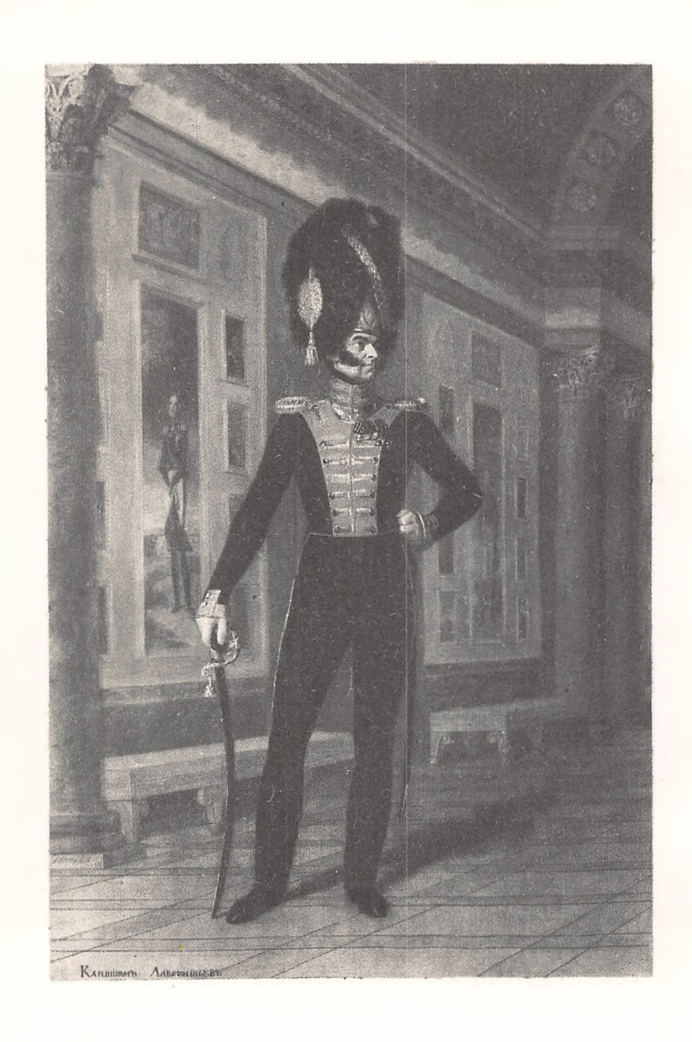
П. П. Коновницын



М. И. Платов



Я. П. Кульнев



Капитан В. М. Лаврентьев

Не прекращалась и слежка за поэтом. Стоило ему уехать из Петербурга, как тотчас вслед летели распоряжения о «строжайшем секретном надзоре». Так было, например, в 1833 году во время поездки Пушкина через Москву и Нижний Новгород в Оренбург для сбора материалов к «Истории Пугачева», позже по приказу Николая I, сообщенному поэту тем же Бенкендорфом, переименованной в «Историю Пугачевского бунта». Самые интимные письма Пушкина к друзьям и жене, так же, как и обращенные к нему, тщательно перлюстрировались и не раз попадали Бенкендорфу, а через него — Николаю I.

Пушкин хорошо понимал роль Бенкендорфа, ненавидел и презирал его, но, несмотря на это, до последних дней жизни должен был пользоваться посредничеством шефа жандармов в сношениях с царем, который через того же Бенкендорфа не выпускал поэта ни на шаг из поля своего наблюдения. Бенкендорфу писал Пушкин в ноябре 1836 года о первом своем столкновении с Дантесом.

Бенкендорф, едва ли не самая враждебная Пушкину личность царского окружения, не прекращал своих преследований и после трагической гибели великого поэта. Именно по мысли Бенкендорфа Николай I приказал начальнику штаба корпуса жандармов генералу Дубельту участвовать в разборке бумаг покойного поэта, помимо первоначально назначенного для этого В. А. Жуковского. И Дубельт тщательно перечитывал рукописное наследие Пушкина, докладывая обо всем подозрительном своему начальнику. Агенты III отделения и жандармы наполняли квартиру Пушкина и Конюшенную церковь во время панихид и отпевания его тела. А прах поэта до погребения в Святогорском монастыре сопровождал вместе с А. И. Тургеневым жандармский офицер.

Истинное отношение Бенкендорфа и других подоб-

ных ему «верных царских слуг» к великому поэту с большой точностью раскрыто в поданном Николаю I почти через год после смерти Пушкина «Отчете о деятельности корпуса жандармов за 1837 год»:

«В начале сего года умер от полученной на поединке раны знаменитый наш стихотворец Пушкин. Пушкин соединял в себе два единых существа: он был великий поэт и великий либерал, ненавистник всякой власти. Осыпанный благодеяниями государя, он, однако же, до самого конца жизни не изменился в своих правилах, а только в последние годы стал осторожнее в изъявлении оных. Сообразно сим двум свойствам Пушкина образовался и круг его приверженцев. Он состоял из литераторов и из всех либералов нашего общества. И те и другие приняли живейшее, самое пламенное участие в смерти Пушкина, собрание посетителей при теле было необыкновенное; отпевание намеревались делать торжественное, многие располагали следовать за гробом до самого места погребения в Псковской губернии; наконец дошли слухи, что будто в самом Пскове предполагалось выпрячь лошадей и везти гроб людьми, приготовив к этому жителей Пскова. Мудрено было решить, не относятся ли все эти почести более к Пушкину-либералу, нежели к Пушкину-поэту. В сем недоумении и имея в виду отзывы некоторых благомыслящих людей, что подобное, как бы народное изъявление скорби о смерти Пушкина представляет некоторым образом неприличную картину торжества либералов,— высшее наблюдение признало своей обязанностью мерами негласными устранить все почести, что и было исполнено».

Эти казенные строки, представленные царю за подписью Бенкендорфа, как бы подводили итог отношения их обоих к Пушкину.

В трагической судьбе Пушкина мрачная фигура Бенкендорфа стоит рядом с Николаем I, и едва ли не

в равной мере на них обоих падает вечная ответственность за безвременную гибель великого поэта.

Служебная карьера А. X. Бенкендорфа в значительной степени объясняется близостью к царской семье его матери, урожденной баронессы Шиллинг фон Канштадт. Она была подругой юности матери Александра и Николая, царицы Марии Федоровны, и вместе с нею приехала из Вюртемберга в Россию, где вышла замуж за рижского военного губернатора генерала X. И. Бенкендорфа. С детства будущий шеф жандармов был «своим человеком» для семьи Романовых. 15 лет от роду Бенкендорф произведен в прапорщики и назначен флигель-адъютантом Павла I. Позже участвовал в войнах с французами и турками и летом 1812 года произведен в генерал-майоры. В кампаниях 1812—1814 годов показал себя предприимчивым кавалерийским генералом. В 1819 году назначен начальником штаба гвардии и генерал-адъютантом Александра I. С 1822 года, уже командуя кавалерийской дивизией, по собственному почину и склонности собирал сведения о тайных политических обществах в армии, письменно докладывал о них Александру I. Новый царь также обратил внимание на Бенкендорфа. Николай I назначил его членом суда над декабристами, заседая в котором Бенкендорф ознакомился с тем влиянием, которое имела поэзия Пушкина на молодое поколение.

В 1826 году Бенкендорф стал во главе жандармерии и III отделения и в течение всей последующей деятельности тщательно следил за судьбой сосланных декабристов, их перепиской и иными сношениями с внешним миром, беспощадно отклоняя все, что могло служить к облегчению их участи. Пушкин имел случай лично убедиться в этой стороне деятельности Бенкендорфа. 27 апреля 1836 года агенты шефа жандармов выследили передачу Пушкину письма от томившегося

в ссылке его друга В. К. Кюхельбекера, и это письмо немедленно было затребовано от поэта, так же как и объяснение, через кого оно было получено.

Бенкендорф, как и Дибич, был типичным представителем столь многочисленной тогда при дворе и в армии группы служилых немцев, чуждых интересам России, но лакейски преданных своим господам — Романовым.

Сохранилось немало характеристик Бенкендорфа как человека и государственного деятеля. Одну из наиболее беспощадных дает граф М. А. Корф, ярый монархист и крупный чиновник николаевской империи. Он пишет: «Без знания дела, без охоты к занятиям, отличавшийся особенным беспамятством и вечной рассеянностью, наконец без меры преданный женщинам, он никогда не был ни деловым, ни дельным человеком и вечно являлся орудием лиц, его окружавших. Сидев с ним в Комитете министров и в Государственном совете, я ни однажды не слышал его голоса ни по одному делу, хотя многие приходили от него самого, а другие должны были интересовать его лично. Часто случалось, что он, после заседания, на котором присутствовал с начала до конца, спрашивал меня, чем решено такое-то из внесенных им представлений. Должен еще прибавить, что при очень приятных формах, при чем-то рыцарском в тоне и словах, при довольно живом светском разговоре, он имел лишь самое поверхностное образование, ничему не учился, ничего не читал и даже никакой грамоты не знал порядочно».

Приятельница Пушкина А. О. Россет-Смирнова писала о Бенкендорфе: «Он обладает педантическим упрямством немецкого советника, он совершенно лишен идеала, воображения и был бы превосходным чиновником в Гессен-Касселе и всякой другой трущобе; он действует в стране, которой не знает, он исполнен

тайного презрения немцев к die Russen, он не любит России...»

Близко наблюдавший Бенкендорфа А. И. Герцен, лично побывавший в его лапах, отмечал: «Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво-добрый взгляд...»

Это выражение фальшивой благостности хранит лицо Бенкендорфа и на портрете, находящемся в галерее. Он написан в 1822 году — за четыре года до «знакомства» шефа жандармов с великим поэтом.

Именно здесь, рядом с невыразительным и «обманчиво-добрым» лицом Бенкендорфа, мы, думая о судьбе Пушкина, должны представить себе почти классически правильный, но холодный и надменный облик императора Николая I, который в сознании поэта был неотделим от его верного слуги Бенкендорфа.

П. В. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ. Летом 1828 года над Пушкиным нависла неожиданная гроза. До петербургского митрополита дошла антирелигиозная поэма «Гавриилиада», и по его жалобе была создана комиссия для разыскания автора. Вскоре поэт был вызван на допрос к петербургскому генерал-губернатору, генералу от кавалерии Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову. Отказавшись первоначально от авторства, Пушкин вскоре был по приказу царя вновь допрошен Голенищевым-Кутузовым. Поэту не верили, от него требовали указания, кто автор «Гавриилиады». На третьем допросе Пушкин написал письмо Николаю I, которое передал для доставления в запечатанном виде. В этом не дошедшем до нас письме он, вероятно, признал себя автором поэмы. Дело было прекращено. Поэтическим памятником волнений этих дней осталось

стихотворение «Предчувствие», датированное августом 1828 года:

Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?..

Петербургским генерал-губернатором Голенищев-Кутузов, дальний родственник знаменитого фельдмаршала, был назначен вместо убитого 14 декабря 1825 года Милорадовича. 13 июня 1826 года он лично руководил казнью декабристов.

Голенищев-Кутузов был опытным «градоправителем». В 1810—1812 годах он состоял петербургским обер-полицеймейстером, и молва связывала с его именем происхождение слова «кутузка», которым обозначался холодный полицейский карцер.

В 1812 году Голенищев-Кутузов в первую половину кампании «состоял» при Александре I, а с октября командовал кавалерийским отрядом, принявшим участие в преследовании отступавшего врага.

А. А. ЗАКРЕВСКИЙ. В те же месяцы, когда происходило расследование по делу «Гавриилиады», то есть летом и осенью 1828 года, Пушкин часто посещал дом незадолго до этого назначенного министром внутренних дел генерал-лейтенанта Арсения Андреевича Закревского. Но не общение с высокопоставленным генералом привлекало сюда поэта. В октябре этого года П. А. Вяземский писал А. И. Тургеневу: «Пушкин, сказывают, поехал в деревню... Целое лето кружился он в вихре петербургской жизни, воспевал Закревскую». И действительно, мы знаем ряд стихотворений

великого поэта, посвященных этой оригинальной и привлекательной женщине, прославившейся красотой и многочисленными романтическими приключениями. В первом из них — «Портрет» — Пушкин рисует такой образ А. Ф. Закревской:

С своей пылающей душой,
С своими бурными страстями,
О жены севера, меж вами
Она является порой
И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

Комментируя это стихотворение, один из исследователей говорит: «Яркой, беззаконной кометой проносилась она в 20-х годах по небосклону чиновного и лицемерно-добродетельного большого света».

В другом посвященном Закревской стихотворении Пушкина, «Наперсник», читаем:

Твоих признаний, жалоб нежных
Ловлю я жадно каждый крик:
Страстей безумных и мятежных
Как упоителен язык!
Но прекрати свои рассказы,
Таи, таи свои мечты:
Боюсь их пламенной заразы,
Боюсь узнать, что знала ты!

В письме Вяземскому от 1 сентября 1828 года, рассказывая о своей петербургской жизни, поэт сообщал: «Я пустился в свет потому, что бесприютен. Если б не Закревская, твоя медная Венера, то я бы с тоски умер».

Прозвище «медная Венера», данное А. Ф. Закревской Вяземским, объяснялось монументальной фигурой рослой красавицы, как бы отлитой из бронзы. Может быть, именно эта особенность внешности Закревской, напоминавшей ожившую статую, отмечена и

Пушкиным в строфе «Онегина», где он описывает встречу Татьяны с Закревской, выведенной под именем Нины Воронской: [1]

Беспечной прелестью мила,
Она сидела у стола
С блестящей Ниной Воронскою,
Сей Клеопатрою Невы;
И верно б согласились вы,
Что Нина мраморной красою
Затмить соседку не могла,
Хоть ослепительна была!

Не случайно и наименование — «Клеопатра Невы»: из всех близких поэту женщин Закревская по своему характеру и темпераменту более всех походила на героиню «Египетских ночей» Пушкина.

Наконец, по мнению некоторых исследователей, именно Закревская описана Пушкиным под именем Зинаиды Вольской в неоконченном наброске 1828 года, начинающемся словами: «Гости съезжались на дачу». В уста одного из действующих в нем лиц поэт вложил буквально то, что сам говорил и писал друзьям о Закревской в это время.

Аграфена Федоровна Закревская, урожденная графиня Толстая, двоюродная сестра знаменитого скульптора и медальера Ф. П. Толстого, 19 лет вышла замуж за 35-летнего генерала А. А. Закревского, и уже очень скоро петербургский «свет» говорил и писал о ее эксцентричности и любовных приключениях. В 1825 году ею был сильно увлечен приятель Пушкина, известный поэт Е. А. Баратынский, воспевший ее в ряде стихотворений под именем «княгини Нины», заимствованным Пушкиным в приведенной выше строфе из «Евгения Онегина».

---

[1] Существует также версия, что под именем Нины Воронской выведена Е. Н. Завадовская.

Существуют указания, что и в последние годы жизни великий поэт относился к А. Ф. Закревской с неизменной симпатией, любил ее живой и занимательный разговор, читал ей при встречах свои новые стихи. Племянница Закревской рассказывает в своих воспоминаниях, что, когда тело Пушкина после отпевания было поставлено в склеп Конюшенной церкви и друзья поэта приходили с ним прощаться, ее тетка была в числе лиц, оставшихся здесь на всю последнюю ночь. Она вплоть до утра то обливалась слезами, то повествовала окружавшим ее барыням, что Пушкин был в нее влюблен, и рассказывала эпизоды из их отношений.

Генерал А. А. Закревский принадлежал к числу видных военно-административных деятелей царствований Александра I и Николая I. Сын мелкопоместного дворянина, он начал службу в одном из армейских пехотных полков, которым командовал талантливый молодой генерал Н. М. Каменский. Став его адъютантом, Закревский участвовал вместе со своим начальником в ряде войн 1805—1810 годов против французов, шведов и турок, отличаясь при этом распорядительностью и храбростью. После смерти Каменского Закревский был назначен адъютантом к М. Б. Барклаю-де-Толли, в штабе которого прослужил кампанию 1812 года. Проявил особенную храбрость при Бородине, где под жестоким вражеским огнем развозил по полю битвы приказы Барклая и сопутствовал ему во время атак.

В 1813—1814 годах, произведенный в генерал-майоры, Закревский стал лично известен Александру I как опытный штабной работник, и в 1815 году, при формировании Главного штаба, был назначен дежурным генералом, которому подчинялся инспекторский департамент, то есть в его распоряжение поступили все дела по личному составу армии.

Непосредственным начальником Закревского являлся известный уже нам П. М. Волконский. С этого года Закревский постоянно сопровождал царя и летом жил в Царском Селе, где его мог видеть лицеист Пушкин.

После увольнения Волконского в 1823 году Закревский был назначен генерал-губернатором в Великое княжество Финляндское, а в 1828 году стал министром внутренних дел. Переехав из Гельсингфорса в Петербург, Закревские жили в своем доме на Исаакиевской площади. Здесь-то и бывал Пушкин, вероятно именно в это время познакомившийся с семьей генерала.

Как министр Закревский вскоре стал известен введенным им педантизмом и формализмом в делопроизводстве, а также необычайной строгостью не только по отношению к петербургским чиновникам своего министерства, но и к губернаторам.

Возведенный в 1830 году в графское достоинство, Закревский заслужил печальную известность «крутыми» мерами по борьбе с холерой. Получив от Николая I самые широкие полномочия, он выехал на места, где свирепствовала эпидемия, с целым военным штабом и многочисленными врачами. По его приказу оцеплялись города, на больших дорогах учреждались карантины и заставы; по тем, кто старался пробраться мимо, приказано было стрелять.

Тысячи людей и лошадей с товарными обозами задерживались у застав. А холера, как бы издеваясь над всеми приказаниями Закревского, чудовищными шагами шла все дальше, докатившись наконец до Петербурга. Только тогда меры, принимаемые генералом Закревским, были признаны бесполезными, и вскоре, в конце 1831 года, сам министр был по прошению уволен в отставку.

К «холерному» 1830 году относится следующий

эпизод из жизни Пушкина. Той осенью поэт уехал в деревню Болдино, принадлежавшую его отцу в Нижегородской губернии, предполагая пробыть там недолго, но вскоре оказался запертым в этой глуши карантинами, учрежденными по приказу Закревского. Две попытки Пушкина прорваться в Москву, где жила его невеста, Н. Н. Гончарова, были безуспешны,— приходилось возвращаться в Болдино.

Почти три месяца пребывания поэта в Болдине отмечены изумительной творческой продуктивностью. За этот срок им были закончены начатые ранее произведения: «Гробовщик», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка», VIII и IX главы «Евгения Онегина», «Скупой рыцарь», «Метель», «Каменный гость», «Моцарт и Сальери», написаны целиком «Домик в Коломне» и «Выстрел».

В это именно время местный предводитель дворянства письменно потребовал, чтобы поэт взял на себя обязанности по надзору за холерными карантинами ближайшего округа. Не веря в пользу предпринимаемых мер, Пушкин отказался. Вскоре в ближайший городок Лукоянов прибыл сам грозный министр Закревский. На вопрос его, все ли местные дворяне приняли участие в борьбе с холерой, предводитель дворянства Ульянин пожаловался на отказ Пушкина. «Как он смел это сделать? Покажите мне всю вашу переписку!» — загремел Закревский. Пушкину было послано строжайшее предписание министра, и, как пишет в своих воспоминаниях Ульянин, поэт, несмотря на то что он не был местным помещиком, «принял должность». Об этом эпизоде Пушкин писал из Болдина Наталье Николаевне, объясняя свое положение и полную невозможность приехать в Москву до снятия карантинов.

А. П. ЕРМОЛОВ. Богато одаренная, оригинальная личность генерала от артиллерии Алексея Петровича Ермолова многократно привлекала внимание Пушкина. Рассказы о блестящих боевых подвигах Ермолова в кампаниях 1805—1814 годов поэт, несомненно, слышал от участников этих войн. Отзывы о его человеческих и деловых качествах передавали Пушкину служившие при Ермолове на Кавказе Кюхельбекер, Грибоедов и А. Н. Раевский. В эпилоге «Кавказского пленника» поэт упомянул Ермолова в числе других «покорителей» Кавказа, а о его административной деятельности писал брату Льву осенью 1820 года, после поездки в Горячеводск и в Крым: «Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением». И когда весной 1829 года Пушкин отправился в Тифлис, он нарочно заехал в Орел, чтобы лично познакомиться с уже удаленным со службы опальным генералом, место которого занял бездарный Паскевич. Вот как описывает поэт эту встречу в «Путешествии в Арзрум» (приводим полный текст, не печатавшийся при жизни Пушкина):

«Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня. Я приехал к нему в восемь часов утра и не застал его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не бывает, кроме как у отца своего, простого набожного старика, что он не принимает одних только городских чиновников, а что всякому другому доступ свободен. Через час я снова к нему приехал. Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностию. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естест-

венна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие. Несколько раз принимался он говорить о Паскевиче, и всегда язвительно; говоря о легкости его побед, он сравнивал его с Навином, перед которым стены падали от трубного звука, и называл графа Эриванского графом Ерихонским. «Пускай нападет он,— говорил Ермолов,— на пашу не умного, не искусного, но только упрямого, например на пашу, начальствовавшего в Шумле,— и Паскевич пропал». Я передал Ермолову слова графа Толстого, что Паскевич так хорошо действовал в персидскую кампанию, что умному человеку осталось бы только действовать похуже, чтобы отличиться от него. Ермолов засмеялся, но не согласился. «Можно было бы сберечь людей и издержки»,— сказал он. Думаю, что он пишет или хочет писать свои записки. Он недоволен Историей Карамзина; он желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу... Немцам досталось. «Лет через пятьдесят,— сказал он,— подумают, что в нынешнем походе была вспомогательная прусская или австрийская армия, предводительствованная такими-то немецкими генералами[1]». Я побыл у него часа два. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени... Разговор несколько раз касался литературы».

[1] Ермолов имел в виду множество генералов-немцев, занимавших руководящие посты в армии Николая I. Действительно, во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов различными крупными соединениями командовали: граф Дибич, граф Витгенштейн, барон Будберг, барон Гейсмар, Ридигер, принц Вюртембергский, Рот, Гессе, граф Пален и многие другие. — *Авт.*

Встреча с поэтом произвела на Ермолова большое впечатление. Вскоре он писал Д. В. Давыдову: «Был у меня Пушкин. Я в первый раз видел его и, как можешь себе вообразить, смотрел на него с живейшим любопытством. В первый раз не знакомятся коротко, но какая власть высокого таланта! Я не нашел в себе чувства, кроме невольного уважения». Через несколько строк Ермолов давал восторженный отзыв о творчестве своего недавнего собеседника: «Вот это поэзия! Это не стихи нашего знакомого Грибоедова, от жевания которых скулы болят. К счастью моему, Пушкин, как кажется, не написал ни одного экзаметра — род стиха, который может быть и хорош, но в мой рот не умещается».

В конце 1831 года, будучи в Петербурге, Ермолов виделся с поэтом и его молодой женой. 31 декабря он писал одному из своих знакомых: «Гончаровой-Пушкиной не может быть женщины прелестней».

Сохранился черновик письма Пушкина Ермолову, относящийся к апрелю 1833 года, в котором великий поэт убеждал генерала писать записки о войнах, в которых он участвовал, и предлагал быть их издателем. А в том случае, если Ермолов сам «не соберется взяться за перо», Пушкин изъявлял желание «быть его историком» и просил у генерала «хотя краткого описания, кратких необходимых сведений», нужных ему для такой работы.

Вероятно, Ермолов особенно занимал великого поэта как виднейший военный и административный деятель недавнего прошлого, который, несмотря на полный расцвет сил и способностей, при Николае I неизменно находился в опале и не пользовался доверием правительства, так же как и сам Пушкин.

А. П. Ермолов начал боевую службу в 1794 году, когда за проявленную храбрость получил орден Георгия IV степени из рук самого Суворова, чем гордился

всю жизнь. При Павле I, сначала по ошибке, а затем за резкие ответы одному из генералов-немцев, Ермолов был арестован, отсидел некоторое время в Петропавловской крепости и, наконец, сослан в Кострому. Освобожденный по вступлении на престол Александра I, Ермолов с трудом добился назначения командиром конно-артиллерийской роты, с которой участвовал в кампании 1805 года, вновь прославился редкой храбростью. Однако, несмотря на представление Кутузова, не был награжден. «Позаботился» об этом Аракчеев, злобившийся на молодого офицера за смелые ответы на придирчивые замечания, сделанные во время смотра его роты.

В 1806—1807 годах Ермолов прославился в армии постоянной боевой инициативой, умением быстро учесть создавшуюся обстановку и смело взять на свою ответственность нужную операцию. Так, например, он едва не был отдан под суд за то, что по собственному решению зажег два квартала местечка Маков, чтобы осветить приближение неприятеля к единственному мосту через реку Нарев, по которому переходили наши обозы и части. Встретив здесь врага огнем своих сорока орудий, Ермолов удерживал его несколько часов и обеспечил благополучную переправу. В одном из сражений на замечание адъютанта, присланного к нему великим князем Константином, что французы слишком близко подходят к его батарее, Ермолов отвечал: «Я буду стрелять, когда различу белокурых от черноволосых». И, подпустив врага на пятьдесят шагов, ударил картечью и обратил его в бегство.

Боевую деятельность Ермолова высоко ценили Багратион, Раевский и другие передовые генералы русской армии, по настоянию которых он был произведен в полковники. Ценили Ермолова и солдаты — во время одного из сражений, увидев его батареи, выезжавшие на позицию, пехотинцы кричали: «Зря француз го-

рячку порет, Ермолов за нас постоит!» Однако неоднократные представления храброго артиллериста к чину генерал-майора оставались без утверждения, и на одном из смотров, вскоре после окончания войны, произошло новое столкновение с Аракчеевым, наговорившим Ермолову таких несправедливых замечаний и грубостей, что полковник решил подать в отставку. Но оказалось, что, наслышавшийся о подвигах Ермолова, Александр I пожелал удержать его на службе. Вслед за императором Аракчеев, переменив свое отношение, сам ходатайствовал о производстве Ермолова в генералы.

В начале войны 1812 года он был назначен начальником штаба 1-й армии Барклая-де-Толли. Несмотря на то что с этим генералом у него были холодные, чисто служебные отношения, а с командовавшим 2-й армией Багратионом — самые дружеские, Ермолов делал все возможное, чтобы сгладить постоянные взаимные неудовольствия неладивших между собою командующих, смягчать шероховатости в переписке и т. п. В докладах Барклаю он передавал резкие и дерзкие отзывы Багратиона в «выражениях самых обязательных», а в письмах Багратиону холодность и грубость Барклая представлял в «видах приятных». В результате Багратион писал Ермолову, что он не ожидал найти в Барклае столько хорошего, как нашел, а Барклай говорил, что он «не думал, чтобы с Багратионом можно было так легко служить».

В Бородинском сражении, посланный Кутузовым после ранения Багратиона на левый фланг, Ермолов по своей инициативе организовал блестящую контратаку русской пехоты и артиллерии на занятый было французами редут Раевского. Ермолов отбил этот редут и оборонял вплоть до момента, когда был тяжело контужен.

В 1813 году Ермолов прославился в сражении под

Кульмом: приняв командование от раненого генерала Остерман-Толстого, он одержал победу и решил исход всей кампании. В 1814 году получил командование гвардейским корпусом, с ним участвовал во взятии Парижа, за что был награжден орденом Георгия II степени.

После войны Аракчеев рекомендовал Александру I назначить Ермолова на должность военного министра, но в 1816 году генерал получил иной пост — главнокомандующего в Грузии. На Кавказе Ермолов проявил в войне с горцами холодный и точный расчет, порой — жестокость, но выгодно отличался от своих предшественников и последующих командующих на Кавказе неизменной подлинной заботой о солдатах своего корпуса. Ермолов запретил изнурять войска фронтовыми учениями, улучшил питание, разрешил носить полушубки вместо шинелей, папахи вместо неудобных тяжелых киверов, а вместо громоздких ранцев — холщовые мешки и т. п. Деятельно занимался устройством удобных штаб-квартир, госпиталей и лечебных заведений в Кисловодске и Железноводске, посещавшихся тогда преимущественно лицами, служившими на Кавказе. При нем же начаты систематические работы по прокладке дорог (Военно-Грузинской и других) и разработка полезных ископаемых.

Ермолов, несомненно, обладал административным талантом, умением подбирать людей, пользовался огромной популярностью среди подчиненных, был чрезвычайно экономен в расходовании казенных средств, совершенно чужд корыстолюбию. И, несмотря на все это, он был смещен в 1826 году новым царем — Николаем I, не доверявшим генералу, которого подозревали в связях с декабристами и даже в том, что на Кавказе существовало с его ведома тайное политическое общество. Первое подозрение имело некоторые основания. Преувеличивая оппозиционные настроения Ермо-

лова, члены Северного тайного общества назначили Алексея Петровича в состав временного правительства, которое собирались создать после свержения самодержавия.

Отметим, что Ермолов, получив в декабре 1825 года приказ об аресте служившего при нем А. С. Грибоедова, предупредил знаменитого драматурга о готовящейся грозе, что дало ему возможность уничтожить компрометирующие документы. Иначе Грибоедов, вероятно, был бы осужден по делу декабристов, так как с некоторыми из них был тесно связан.

Николай I не мог простить Ермолову самостоятельности суждений, постоянных критических замечаний о любимой им, царем, прусской военной системе и язвительных острот по адресу многих видных деятелей его империи.

Рассказывая о зарождении антипатии Николая I к Ермолову, Д. В. Давыдов приводит следующий эпизод: «Ермолов никогда не пользовался благоволением императора Николая Павловича, почитавшего его человеком опасным по либеральному образу мыслей. Он возымел это мнение с самого 1815 г. При вступлении в Париж одной дивизии корпуса, которым командовал Ермолов, император Александр остался недоволен фронтовым образованием одного из полков, вследствие чего последовало повеление посадить трех штаб-офицеров на гауптвахту, занятую в тот день английскими войсками. Ермолов горячо заступился за них, говоря, что если они заслуживают наказания, то их приличнее арестовать в собственных казармах, но не следует срамить трех храбрых штаб-офицеров в глазах чужеземцев; «таким образом нельзя приобрести любви и расположения войск»,— сказал он. Государь остался непреклонен. Ермолов, не исполнив высочайшего повеления, отправился в театр, куда прибыл адъютант кн. П. М. Волконского, Чебышев,— с приказом тотчас

арестовать виновных. Встретив там вел. кн. Николая Павловича, Ермолов сказал ему: «Я имел несчастье подвергнуться гневу его величества. Государь властен посадить нас в крепость, сослать в Сибирь, но он не должен ронять храбрую армию в глазах чужеземцев. Гренадеры прибыли сюда не для парадов, но для спасения Отечества и Европы». Слова эти, столь неблагоприятно отразившиеся для Ермолова через 10 лет, были, вероятно, переданы государю, потому что он приказал приготовить в занимаемом им дворце Elysée Bouzbon три кровати для арестованных. Вел. кн. Николай Павлович сказал однажды покойному императору, что этот самостоятельный и энергичный наместник на границе государства весьма неблагонадежен...»

Удаление с Кавказа Ермолова, достигшего всего 49 лет и бывшего в полном расцвете своих способностей, произвело большое впечатление на русское общество, в котором он был очень популярен. Даже осторожный И. А. Крылов отозвался на это событие баснями «Конь» и «Булат». В первой из них он рассказывал о прекрасном, испытанном боевом коне, который достался

Наезднику, да на беду — плохому.
Тот приказал его в конюшню свесть,
И там, на привязи, давать и пить и есть...

А во второй басне повествовал о булатном клинке, заброшенном под лавку крестьянской избы, где с ним заговаривает сосед-еж:

«В руках бы воина врагам я был ужасен, —
Булат ответствует, — а здесь мой дар напрасен;
Так, низким лишь трудом я занят здесь в дому:
Но разве я свободен?
Нет, стыдно-то не мне, а стыдно лишь тому,
Кто не умел понять, к чему я годен».

Ермолов, уволенный в отставку, прожил в вынужденном бездействии 35 лет. Единственный раз ему

предложили вновь поступить на службу — возглавить военный аудиториат, то есть военно-судебную часть армии. На это предложение Ермолов ответил: «Единым своим утешением считаю любовь войск и наказителем их быть не могу».

Ермолов был известен своими остротами. Рассказывали, что на вопрос Александра I, чем можно его наградить, он ответил просьбой «произвести в немцы», намекая на множество бездарных генералов немецкого происхождения, занимавших видные должности в армии. На вопрос о том, каков в бою некий генерал, Ермолов ответил одним словом: «Застенчив».

Решительно осуждая фронтовую муштру, введенную в армии после войны 1812—1814 годов, Ермолов постоянно ее высмеивал. Однажды в Варшаве великий князь Константин показывал Ермолову батальон гвардейской пехоты, обмундированный по новому образцу. Люди замерли в строю, туго затянутые в узкие мундиры с высочайшими воротниками, накрепко перетянутые перевязями и кушаками, в обтяжных узких панталонах. При вопросе Константина, как нравится генералу новое обмундирование, Ермолов уронил перчатку и приказал ближайшему солдату поднять ее. Как ни силился несчастный гренадер нагнуться к земле, он не смог сделать этого, так был стеснен в движениях одеждой и амуницией. «Не беспокойся, голубчик»,— сказал Ермолов, сам подымая перчатку. И обратился к Константину: «Отменно красивая и удобная форма, ваше высочество».

Портрет Ермолова, находящийся в галерее, не требует оценки после слов, сказанных Пушкиным в «Путешествии в Арзрум».

И. Ф. ПАСКЕВИЧ. Приехав 26 мая 1829 года в Тифлис, Пушкин узнал, что Нижегородский драгунский

полк, которым командовал его друг Н. Н. Раевский-младший и в котором служил его брат, Лев Сергеевич, незадолго до этого выступил в поход против турок. Для поездки в армию нужно было разрешение командовавшего ею генерала от инфантерии Ивана Федоровича Паскевича. Пушкин, получив позволение, 10 июня выехал из Тифлиса к Карсу. 13 июня поэт догнал войска на берегу Карс-чая, был любезно принят Паскевичем и двинулся далее с армией. Естественно, Пушкина мало интересовало общество главнокомандующего и ближайших чинов его штаба, поэта влекло к общению с подлинно близкими ему людьми: Н. Н. Раевским, товарищем по Лицею полковником В. Д. Вольховским и со ссыльными декабристами, М. И. Пущиным и З. Г. Чернышевым, разжалованными в солдаты и служившими в войсках Паскевича. С ними, с их боевыми товарищами Пушкин проводил вечера на стоянках, в политических и литературных разговорах, непринужденной, дружеской болтовне и шутках. При всяком удобном случае он ввязывался в стычку с врагом, испытывая свою храбрость и неведомые доселе ощущения боя. Не раз Раевский посылал вдогонку за поэтом опытных офицеров, с трудом настигавших Пушкина в передовой цепи казаков и драгун, готового к сшибке с турецкими наездниками.

В «Путешествии в Арзрум», рассказывая о лагерной жизни и дав живую и яркую картину кавалерийских атак, поэт скромно умалчивает о своем в них участии и о том, как один раз скакал с донесением Раевского к главнокомандующему.

Под впечатлением виденного в стычке 14 июня Пушкин еще до отъезда с Кавказа написал стихотворение «Делибаш» [1]:

Перестрелка за холмами;
Смотрит лагерь их и наш;

[1] *Делибаш* — отчаянная голова.

На холме пред казаками
Вьется красный делибаш.

Делибаш! не суйся к *лаве*[1],
Пожалей свое житье;
Вмиг аминь лихой забаве:
Попадешься на копье...

Давая Пушкину разрешение прибыть в армию, Паскевич, несомненно, надеялся, что поэт войдет в число его приближенных и впоследствии прославит его подвиги в своих стихах. Первые дни Паскевич был с Пушкиным весьма любезен и всячески привлекал его в кружок своего штаба, приглашал обедать, советовал находиться при нем во время боя и т. д. Но поэт явно предпочитал общество, окружавшее Раевского. Это и послужило вскоре причиной охлаждения Паскевича к поэту, за которым к тому же и здесь был установлен, по приказу Бенкендорфа, секретный надзор, о чем прежде всех узнал, конечно, главнокомандующий. 21 июля по прямому указанию Паскевича Пушкин покинул его армию, пробыв в ней всего около пяти недель.

Вот как рассказывает об этом один из офицеров, участник похода 1828 года: «Главнокомандующий, видя, что Пушкин явно удаляется от него, призвал его к себе в палатку (во время доклада бумаг Вольховским) и резко объявил: «Господин Пушкин! Мне вас жаль, жизнь ваша дорога для России; вам здесь делать нечего, а потому я советую немедленно уехать из армии обратно, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой». Вольховский передавал мне, что Пушкин порывисто поклонился Паскевичу и выбежал из палатки, немедленно собрался в путь, попрощавшись со знакомыми и друзьями, и в тот же день уехал. Вольховский передавал мне под секретом еще то, что

---

[1] *Лава* — рассыпной строй казаков при атаке.

одной из главных причин неудовольствия главнокомандующего были нередкие свидания Пушкина с некоторыми из декабристов, находившихся в армии рядовыми. Говорили потом, что некоторые личности шпионили за поведением Пушкина и передавали свои наблюдения Паскевичу, разумеется, с прибавлениями, желая тем выслужиться».

Отношения между главнокомандующим и поэтом остались внешне приязненными. На прощание Паскевич подарил Пушкину турецкую саблю. Эту любезность, по всей вероятности, следовало воспринимать как некий «аванс» за предполагаемые хвалебные строки.

Хвалебных стихов ожидали и многие другие современники. Об этом извещалось в «Тифлисских ведомостях» при отъезде Пушкина в армию, а по возвращении поэта в Петербург Ф. Булгарин писал в своей «Северной пчеле»: «Александр Сергеевич Пушкин возвратился в здешнюю столицу из Арзрума. Он был на блестящем поприще побед и торжеств русского воинства, наслаждался зрелищем, любопытным для каждого, особенно для русского. Многие почитатели его музы надеются, что он обогатит нашу словесность каким-нибудь произведением, вдохновенным под тенью шатров, в виду неприступных гор и твердынь, на которых могучая рука Эриванского героя водрузила русские знамена».

Но эти надежды были напрасны. Пушкин не вдохновился военной славой Паскевича. В напечатанном лишь в 1836 году «Путешествии в Арзрум» он весьма сдержанно говорит об этом полководце. А в предисловии дает резкую отповедь Булгарину в следующих словах: «*Искать вдохновения* всегда казалось мне смешной и нелепой причудою: вдохновения не сыщешь; оно само должно найти поэта. Приехать на войну с тем, чтобы воспевать будущие подвиги, было бы для меня,

с одной стороны, слишком самолюбиво, а с другой — слишком непристойно. Я не вмешиваюсь в военные суждения. Это не мое дело...»

Чрезвычайно сдержанно отозвался Пушкин на «победы» Паскевича и в 1831 году. Тогда же, оценивая его действия в сложных условиях европейской политики, поэт в одном из писем отметил, что «граф Паскевич удивительно счастлив».

Паскевич не простил поэту этой холодности и после его смерти. 19 февраля 1837 года он писал Николаю I: «Жаль Пушкина как литератора, в то время когда талант его созревал, но человек он был дурной».

Паскевич принадлежал к числу молодых генералов времени Отечественной войны 1812 года. В юности был пажем Павла I и флигель-адъютантом Александра I. Боевую службу начал в турецкую войну 1807—1811 годов участием в ряде сражений, за которые произведен в полковники и в генерал-майоры и награжден орденом Георгия IV степени. В начале войны 1812 года командовал 26-й пехотной дивизией, входившей в состав корпуса Раевского, во главе которой мужественно сражался при Салтановке, Смоленске, Бородине, Малоярославце и Вязьме. Участвовал в ряде боев кампании 1813 года и отличился под Лейпцигом, за что произведен в генерал-лейтенанты, всего на 32-м году жизни. В 1814 году в Париже Александр I представил Паскевича своему брату Николаю, как одного из «лучших генералов русской армии». В 1817 году он сопровождал в заграничном путешествии другого брата царя, Михаила, а четыре года спустя его назначили командовать гвардейской пехотной дивизией, в которой бригадными командирами состояли великие князья Николай и Михаил. Поэтому, уже будучи царем, Николай I постоянно именовал Паскевича своим «отцом-командиром».

Проявлением особого доверия к Паскевичу было назначение его в 1826 году на пост командующего армией, действовавшей против персов, с формальным подчинением Ермолову. Поручение, данное Паскевичу, руководить войсками при наличии на Кавказе до того долго командовавшего ими Ермолова, несомненно более опытного, талантливого и старшего в чине, ставило последнего перед очевидной необходимостью уйти с дороги царского любимца.

В конце 1826 года Ермолов просил об отставке, «не имев счастья заслужить доверенность» Николая I и конечно был уволен.

Для улаживания недоразумений между командующими Николай I послал на Кавказ Дибича, который, возвратясь, рассказывал встреченному в Пятигорске генералу Сабанееву: «Я нашел край в блистательном порядке и войско, одушевленное духом Суворова. Паскевичу будет легко одерживать победы». Действительно, кампания 1827 года велась Паскевичем по плану, выработанному Ермоловым, и во главе войск, им подготовленных в течение девяти лет командования. Военные действия были успешны, но в них не проявилось особого дарования Паскевича. Однако за победу над персами он получил титул графа Эриванского и миллион рублей.

В войне 1829 года с Турцией Паскевич прославился быстротой и решительностью. Эта кампания — наиболее удачное из всех боевых его дел. Успех принес Паскевичу чин генерал-фельдмаршала и другие щедрые награды.

Административное дарование нового наместника было весьма скромным.

Паскевич не обладал широким кругозором политического и государственного деятеля. По свидетельству современников, он был малообразован, не любил и не умел систематически выражать свои мысли — все до-

несения в Петербург с Кавказа в 1826 году писал состоявший при главнокомандующем А. С. Грибоедов. В обращении с подчиненными отличался грубостью. В записках известного в свое время хирурга Д. К. Тарасова говорится, что он отказался от заманчивого места штаб-доктора отдельного Кавказского корпуса «ввиду особого рода обхождения генерала Паскевича с подчиненными». Ближайшее окружение Паскевича составляли льстецы, наушники и ничтожества. Это объяснялось прежде всего мелочностью и завистливостью натуры самого главнокомандующего, не переносившего рядом с собой людей способных и самостоятельных, которым, он знал, могут приписать часть его полководческой славы. Именно таковы были его отношения к товарищу Пушкина по Лицею В. Д. Вольховскому, талантливому и образованному офицеру, состоявшему обер-квартирмейстером Кавказской армии и, несомненно, во многом содействовавшему победам 1826—1828 годов, но затем подвергшемуся настойчивым преследованиям Паскевича. Уйдя с Кавказа, Вольховский за отличие был произведен в генерал-майоры, но в 1831 году вновь попал под начальство мстительного Паскевича. Главнокомандующий продолжал преследовать Вольховского и тот должен был перевестись обратно на Кавказ, где в течение ряда лет состоял начальником штаба корпуса.

Таковы же в общих чертах отношения Паскевича с Н. Н. Раевским-младшим, командовавшим во время войны 1828 года отрядом кавалерии и ярко выделившимся среди других генералов своим военным дарованием и самостоятельностью. Это вызвало зависть и недоверие главнокомандующего, и вскоре Раевский был обвинен в «предосудительных» сношениях с сосланными на Кавказ декабристами, отстранен от должности и, по желанию всесильного Паскевича, уволен в отставку.

Число лиц, к которым Паскевич проявил мелочную зависть и мстительность, отнюдь не ограничивалось этими двумя примерами. Так же обошелся он со своим начальником штаба, молодым генералом Д. Е. Остен-Сакеном, и с декабристом М. И. Пущиным, сосланным на Кавказ солдатом, быстро выдвинувшимся здесь своими военными знаниями и инициативой, произведенным в офицеры и занявшим видное место в штабе Паскевича. По окончании военных действий Пущин, уезжая на Кавказские Минеральные Воды лечиться после ранений, зашел в палатку преследуемого Паскевичем Остен-Сакена, чтобы с ним попрощаться. Такого проявления простой вежливости было достаточно, чтобы узнавший об этом Паскевич забыл все сделанное Пущиным и откомандировал его от своего штаба, подвергнув ряду незаслуженных обид.

Д. В. ГОЛИЦЫН. В 1820 году московским генерал-губернатором был назначен генерал от кавалерии князь Дмитрий Владимирович Голицын. Постоянно бывая в Москве с осени 1826 года, Пушкин, несомненно, был знаком с Голицыным и не раз посещал блестящие балы, дававшиеся в его дворце. На одном из праздников, устроенных генерал-губернатором 30 декабря 1829 года, во время живых картин присутствовавших особенно поразила красотой юная Н. Н. Гончарова, изображавшая Дидону. Пушкина в это время не было в Москве, и Вяземский писал ему 2 января 1830 года: «Что за картина была в картинах Гончарова!» Вероятно, в это же время впервые отметил редкую красоту будущей жены поэта и находившийся в Москве Николай I.

Вяземский знал о чувстве своего друга к Гончаровой и вскоре на балу у того же Голицына поручил общему их с Пушкиным знакомому, Лужину, танцев-

шему с красавицей, мимоходом заговорить с нею и ее матерью об отсутствующем влюбленном, чтобы узнать, как относятся к нему Гончаровы. Ответом были несколько вопросов о Пушкине и поручение Натальи Николаевны и ее матери передать поэту поклон. Тот же Лужин, отправившись через несколько дней в Петербург и встретясь у Карамзиных с Пушкиным, пересказал ему слова Гончаровых. Приехав вслед за этим в Москву, поэт возобновил свои искания, закончившиеся женитьбой.

Об этом, столь знаменательном для него, эпизоде, происшедшем на балу у Голицына, Пушкин упоминал в письме от 5 апреля будущей теще, написанном накануне его помолвки.

Оказавшись осенью 1830 года запертым в Болдине холерными карантинами, Пушкин неоднократно пытался проехать оттуда в Москву и при третьей попытке был задержан в селе Платава, всего в 72 верстах от Москвы, откуда писал своей невесте 2 декабря: «Умоляю вас сообщить князю Дмитрию Голицыну о случившемся со мною несчастном происшествии, упросив его употребить все свое влияние для моего въезда в Москву». Через три дня Пушкин был уже в Москве, может быть, не без участия Голицына.

Наконец 22 февраля 1831 года, вскоре после свадьбы, Пушкин с молодой женой присутствовал на благотворительном маскараде в Большом театре. Во время ужина Голицын подходил к столику, за которым сидели Пушкины, Долгорукие и Булгаковы, и беседовал с ними об удачном вечере.

Д. В. Голицын интересен для нас и как сын «Пиковой дамы». Его мать, княгиня Наталия Петровна, послужила Пушкину прототипом старой графини Анны Федотовны в гениальной повести, написанной в 1833 году. В записи дневника Пушкина от 7 апреля 1834 года читаем: «Моя Пиковая Дама в большой

моде — игроки понтируют с тройки, семерки и туза. При дворе нашли сходство между старой графиней и княгиней Наталией Петровной и кажется не сердятся».

Н. П. Голицына — одна из самых примечательных фигур великосветского Петербурга времени Пушкина. В молодости она много путешествовала, долго жила в Париже, принятая при дворе Людовика XVI, и выехала из Франции незадолго до революции. В Петербурге Голицыной принадлежал доныне сохранившийся дом на углу Гороховой и Малой Морской (ул. Гоголя), так живо и точно описанный Пушкиным в «Пиковой даме». Умная, энергичная и властная, в старости — очень некрасивая (за бороду и усы ее прозвали «Princesse-Moustache» [1]), Голицына создала себе такое исключительно почетное положение, что ей оказывали особое внимание цари Павел I, Александр I и Николай I. По словам ее биографа, «ее уважало и с нею считалось все высшее общество обеих столиц, считавшее за честь бывать у нее в доме. В высшей степени своенравная, она властвовала в свете, всеми признанная; к ней везли на поклон каждую молодую девушку, начинавшую выезжать; гвардейский офицер, только что надевший эполеты, являлся к ней как по начальству. Будучи очень преклонных лет, она считала всех молодежью,— поэтому все высоко ценили малейшее ее внимание, но зато мало кто ее не боялся. Семья вся трепетала перед княгиней, с детьми она была очень строга — даже тогда, когда они уже давно пережили свою молодость». Пятидесятилетний сын ее, московский генерал-губернатор, один из первых сановников империи, не смел садиться при матери без особого ее приглашения.

Умерла Наталия Петровна Голицына в возрасте

---

[1] «Княгиня-Усач» *(франц.)*.

97 лет, 20 декабря 1837 года, почти на год пережив Пушкина.

Д. В. Голицын получил образование в Страсбургской военной академии, после чего провел несколько лет в Париже, где «блистала» в это время его мать.

Среди вечно праздничной жизни версальского двора Голицын не прекращал занятий по военному искусству и напечатал в Париже пространные замечания на сочинение римского военного писателя Вегеция. Возвратясь в Россию, Голицын деятельно участвовал в ряде войн, начиная с 1794 года, быстро двигаясь по службе как благодаря своим личным качествам, так, не менее, благодаря родовитости и связям. В 1800 году, 29 лет, он был уже генерал-лейтенантом.

Почетную известность заслужил Голицын в бою под Голымином 14 декабря 1806 года, когда, командуя отрядом из 8 пехотных и 3 кавалерийских полков с 18 орудиями, выдерживал в течение целого дня упорную атаку войск маршалов Мюрата, Даву и Ожеро, руководимых самим Наполеоном. В сражениях при Прейсиш-Эйлау, Фридланде и других много раз водил в атаку свои части. С отличием участвовал в войне против шведов в 1808 году и задумал по собственной инициативе переход по льду через Ботнический залив в Швецию. Обиженный тем, что не ему, а Барклаю-де-Толли доверили руководство этой одновременно разработанной и в Петербурге операцией, Голицын вышел в отставку весной 1809 года. Вновь вступил на службу только в августе 1812 года, после назначения главнокомандующим Кутузова, который поставил его во главе кирасирского корпуса из двух дивизий. Предводительствуя ими, бился при Шевардине и под Бородином. Участвовал в кампаниях 1813—1814 годов, а после войны командовал крупными соединениями

войск, вплоть до 1820 года, когда был назначен московским генерал-губернатором. Москва после пожара 1812 года лежала еще в развалинах, и Голицын проявил много энергии при восстановлении древней столицы России.





О ТЕХ, КОГО ПУШКИН НЕ ЗНАЛ

Как мы видели, Пушкин в течение своей жизни общался со многими генералами — участниками войны 1812 года. На первый взгляд может показаться странным, что столь многие из них относились равнодушно или неприязненно к великому поэту, видели в нем только вредного вольнодумца, не понимали его огромного значения, не ценили в нем носителя славы нашей Родины. Трудно связать со всем этим наше высокое представление о вождях — героях Отечественной войны, самоотверженных бойцах за русскую национальную независимость, для которых особенно близким было все служившее славе русского имени. Однако надо помнить, что едва ли не большинство из тех, кого лично знал Пушкин, то есть Левашов, Керн, Дибич, Бенкендорф, Закревский, Паскевич, в 1812 году играли только вторые и третьи роли, занимали отнюдь не ведущее положение. И тогда многие из них были расчетливыми карьеристами, случайными людьми в великом деле национального патриотического подъема, стремившиеся всеми средствами выслужиться, оказаться на виду, получить чин, орден, «заслужить монаршее благоволение». А один из лично известных Пушкину, граф Витт, ухитрился прослужить два года

под знаменами Наполеона, неизменного врага России.

Не эти люди творили вечную славу Отечественной войны. Ее подлинно руководящими деятелями, талантливыми последователями славной школы Суворова и достойными помощниками Кутузова были Багратион, Барклай, Дохтуров, Коновницын, Раевский, Остерман-Толстой, Неверовский, Платов, Ермолов, Багговут, братья Тучковы, Кульнев, Дорохов, Давыдов и другие.

Главными отличительными чертами большинства этих генералов было полное отсутствие карьерных устремлений, придворной искательности, личной корысти, они глубоко верили в русский народ, в его силу, гуманно и бережно относились к подчиненным. Каждый из этих генералов опирался на веривших в него солдат и офицеров, знавших его по прошлым кампаниям и почитавших не только по уставной субординации. Вместе с ними они упорно, искусно и самоотверженно сражались под стенами Смоленска, на полях Бородина, Тарутина и Малоярославца, на берегах Березины — везде, где решалась судьба России и напавшей на нее наполеоновской Франции.

В 1820—1830-х годах, к которым относится творческий расцвет Пушкина, почти все представители этой славной плеяды военачальников уже сошли с военно-политического поприща. Многие были убиты в боях, другие умерли в ближайшие годы после войны, третьи доживали в отставке свой век — «никли в тишине главою лавровой», наконец, четвертым, еще нестарым и полным энергии, не было места в военной системе Николая I.

Новому императору не нужны были люди подобного типа, слишком самостоятельно думавшие и действовавшие. Именно к ним принадлежало и все старшее поколение декабристов. После 1825 года таким генералам и офицерам в армии не было места или, по край-

ней мере, не было хода, так же как заслуженным боевым офицерам. Один из современников, отмечая это явление, начавшееся еще в последние годы царствования Александра I, писал: «Войну забыли, как будто ее никогда не было, и военные качества заменились экзерцирмейстерской ловкостью». Заслуженных офицеров выживали со службы, и «наши георгиевские кавалеры пошли в отставку и очутились винными приставами». Но зато в военно-бюрократической машине Николая I ведущее положение прочно заняли Бенкендорф, Паскевич, Левашов, Чернышев, Толь, Дибич, Витт, Клейнмихель и подобные им личности, ничем не связанные с солдатами, с народом, давно забывшие о том времени общерусского патриотического подъема и бранных трудов 1812 года, в котором им посчастливилось когда-то участвовать и отблеск которого возвышал их в глазах современников и потомков.

Пушкин превосходно понимал эту типичную для времени Николая I расстановку сил. Великий поэт относился с неизменным интересом и глубоким уважением к лично известным ему представителям сошедшей со сцены группы генералов-патриотов: Н. Н. Раевскому-старшему, С. Г. Волконскому, Д. В. Давыдову, А. П. Ермолову. Эти люди были во многом духовно ему близки. Именно к ушедшему, старшему поколению подлинных «начальников народных наших сил» обращался великий поэт во вступительной части стихотворения «Полководец», им отдавал он лавры «вечной памяти Двенадцатого года», так неизменно, так живо интересовавшего его всю жизнь.

И хотя Пушкин лично знал только тех, о ком мы говорили в предыдущей главе [1], хотя в своих сочине-

[1] Отметим, что в нашей книге мы не останавливались на отношениях Пушкина с Н. Г. Репниным, А. И. Чернышевым, К. Ф. Ламбертом, В. С. Трубецким, Л. А. Нарышкиным и А. Д. Балашевым, так как эти отношения носили случайный характер.

ниях он дал оценку только двум крупнейшим из уже умерших военачальников — Кутузову и Барклаю, можно с уверенностью сказать, что многие наиболее заметные деятели 1812 года, портреты которых он видел в галерее, были хорошо известны великому поэту, как по их внешнему облику, так и по роли в Отечественной войне.

П. И. БАГРАТИОН. К этим героям принадлежал прежде всего генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион, герой 20 походов и войн, участник 150 сражений и боев. Имя его впервые прославилось во время знаменитых Итальянской и Швейцарской кампаний Суворова 1799 года, в которых Багратион был почти бессменным начальником русского авангарда при наступлении и арьергарда — при отходе. В 1805—1807 годах Багратион играл ведущую роль в первых войнах с Наполеоном, выполняя наиболее трудные задачи, как, например, задержание французов у Шенграбена. В 1808 году Багратион одержал ряд побед над шведами, год спустя, став главнокомандующим Дунайской армии, взял одну за другой пять турецких крепостей и разбил врага под Рассеватом и Татарицей. Боевым девизом Багратиона было: «Искать врага и бить». Быстрота его движения и энергия при нападении, по мнению многих современников, уступали только суворовским.

Наполеон хорошо знал эти качества Багратиона и называл его «лучшим генералом русской армии».

Война 1812 года застала Багратиона главнокомандующим 2-й Западной армии, которая насчитывала сорок пять тысяч человек при двухстах шестнадцати орудиях. Штаб его находился в Волковыске, близ Гродно. Ожидая начала военных действий, Багратион создал свой план будущей кампании, построенный

целиком на наступательных операциях. Между тем соотношение военных сил России, имевшей на западной границе всего около двухсот тысяч бойцов, с силами Наполеона, двинувшего для вторжения шестисоттысячную армию, было таково, что о наступлении в первое время не могло быть и речи. Поэтому Багратион получил приказание двинуть свои войска в глубь страны, по возможности уклоняясь от боя, уничтожая на пути врага все продовольствие и стремясь соединиться с 1-й Западной армией Барклая-де-Толли, которая располагалась на двести километров севернее и также отходила в глубь страны.

Стремясь разбить русские армии порознь, Наполеон двинул наперерез Багратиону и в погоню за ним маршала Даву с семидесятитысячным корпусом, командующего польскими войсками, сражавшимися на стороне Франции, генерала Понятовского с тридцатью пятью тысячами солдат, Жерома Бонапарта с шестнадцатью тысячами солдат и, наконец, генералов Груши и Латур-Мобура с пятнадцатью тысячами конников. Казалось, Багратион будет неминуемо раздавлен. Но, умело и быстро маневрируя, русские войска отходили, обманывая или прорывая части преследователей. «Я весь окружен,— писал в те дни Багратион,— и куда продерусь, заранее сказать не могу, а дремать не стану». И он не дремал. 28 июня у Мира казаки разбили французскую и польскую конницы, 2 июля то же самое повторилось у Романова. 10—11 июля у Салтановки корпус Раевского задержал движение французов на целые сутки, а 14 июля, уйдя от взбешенного Даву, Багратион переправился через Днепр у Нового Быхова, чтобы 22 наконец соединиться с армией Барклая у Смоленска.

Образцово справившись с задачей сохранения армии для следующего периода войны, но не обладая широким кругозором крупного полководца, подобным

кругозору Суворова или Кутузова, Багратион не понимал необходимости отступления и негодовал на Барклая, который этого требовал.

Но в то же время Багратион верно чувствовал особый характер Отечественной войны — то, что от ее исхода зависела честь и свобода России. «Защищать Родину ценой любых жертв,— писал он в те дни,— всем народом на врага навалиться, или победить, или лечь у стен Отечества... Надо драться, пока Россия может и пока люди на ногах, ибо война теперь не обыкновенная, а национальная».

Велика была радость Багратиона, когда начальство над обеими русскими армиями принял почитаемый им Кутузов и когда еще через пять дней войска остановились для боя у села Бородина.

В день Бородинского сражения, 26 августа, 2-я армия занимала левый фланг русского фронта. Войска располагались около деревни Семеновской с построенными впереди нее тремя земляными укреплениями — «Багратионовыми флешами».

Сюда-то и обрушил Наполеон свой главный удар, предполагая прорвать фронт русских. С шести часов утра корпус маршала Даву начал атаку. Отхлынув под огнем русских батарей и стрелков, французская пехота перестраивалась и вновь рвалась к русским укреплениям. Поле устлали трупы врагов, многие неприятельские генералы и сам Даву выбыли из строя. Командование атакующими принял маршал Ней, корпус которого присоединился к войскам Даву. Вскоре на помощь к ним пришел и корпус Жюно.

Разгневанный Наполеон требовал во что бы то ни стало прорвать левый фланг русских. Но здесь командовал Багратион, и сломить его полки было невозможно. Шесть часов подряд кипел у Семеновской упорный рукопашный бой. До ста тысяч солдат сражались за

обладание деревней и флешами, огонь пятисот пушек непрерывно косил бойцов. Заваленные телами людей и коней укрепления много раз переходили из рук в руки. Зорко следивший за событиями Кутузов подкреплял свежими частями редевшие полки 2-й армии. Неизменно спокойный Багратион распоряжался в самом пекле боя, ежеминутно рискуя жизнью. Около полудня он отдал приказ о переходе в контратаку. Конница уже устремилась на врага, но в это время осколок вражеского ядра тяжело ранил генерала, раздробив берцовую кость левой ноги. Вот как описывает этот момент русский офицер, один из участников боя: «Постигнув намерение маршалов и видя грозное движение французских сил, князь Багратион замыслил великое дело. Приказания отданы, и все левое крыло наше, во всей длине своей, двинулось с места и пошло скорым шагом в штыки! Сошлись!.. У нас нет языка, чтобы описать эту свалку, этот сшиб, этот протяжный крик, это последнее борение тысячей! Всякий хватался за чашу роковых весов, чтобы перетянуть их на свою сторону. Но окончательным следствием этого упорного борения было раздробление! Тысячи расшиблись на единицы, и каждая кружилась, действовала, дралась! Это была личная, частная борьба человека с человеком, воина с воином, и русские не уступали ни на вершок места...»

Именно в разгар такого напряженного боя и был ранен Багратион. Снятый с коня, он еще продолжал руководить своими войсками. «Успешна ли атака кирасир?» — спрашивал генерал, в то время как врач перевязывал его рану. Но скоро от сильного кровотечения он потерял сознание и был отнесен в тыл. Багратион скончался 12 сентября 1812 года в селе Симы Владимирской губернии.

Прошло двадцать семь лет, и в 1839 году прах героя перевезли на Бородинское поле и предали той зем-

ле, на которой смело встречал он врага и отстаивал честь Родины.

Багратион любил, ценил и понимал солдат. Бескорыстный, доступный и заботливый, он стремился воспитать те же качества в подчиненных ему офицерах. Неизменно вникая во все мелочи солдатского быта, он заботился о санитарном состоянии частей и снабжении их продовольствием и т. п. В приказах его читаем: «Главная обязанность ротных и эскадронных командиров смотреть о здоровье нижних чинов, кои всегда нужны государству и заслуживают отеческой попечительности...»; «Солдата нужно учить и готовить быть победителем, а не изнурять...»; «Всякий начальник должен стремиться приобрести любовь и доверие своих подчиненных и никогда не должен пренебрегать ими как единственными своими сотрудниками, с коими разделит славу...»

Такие слова в то жестокое время мог написать только человек истинно большого, горячего сердца и прекрасной души, каким был Петр Иванович Багратион.

Изображение Багратиона, находящееся в Военной галерее, исполнено в мастерской Доу с неизвестного нам прижизненного портрета. Характерное лицо восточного типа выражает спокойствие и непреклонность, по свидетельству современников, свойственные этому герою в разгар любого боя. Нам кажется, что множество изображений Багратиона восходят к широко известному в свое время портрету работы талантливого художника-дилетанта С. Тончи, гравированному в 1805 году Д. Саундерсом,— на подавляющем большинстве портретов голова генерала повернута в три четверти; почти все они погрудные.

На портрете Военной галереи Багратион изображен одетым в общегенеральский мундир с золотым шитьем в виде дубовых листьев на воротнике, введенный в

1808 году. В таких мундирах большинство генералов (кроме тех, что носили полковую, свитскую или генштабистскую форму) появлялись перед войсками в дни решающих сражений, к которым, по традиции того времени, всегда готовились как к смотру,— люди переодевались в чистое белье, тщательно брились, надевали парадные мундиры, ордена, белые перчатки, султаны на кивера и т. д. Именно таким, каким изображен на портрете — с голубой андреевской лентой, с тремя звездами орденов Андрея, Георгия и Владимира и многими орденскими крестами,— видели полки Багратиона в Бородинском сражении, последнем в его славной боевой жизни.

Любимый соратник Суворова и Кутузова пользовался исключительной популярностью среди солдат, называвших его «наш орел». В армии и в обществе ходило много рассказов об удивительной храбрости и хладнокровии Багратиона. Конечно, слышал их и Пушкин, хотя бы от своего друга Д. В. Давыдова. Напомним, что один из таких рассказов поэт внес в свои «Исторические записи» (Table-talk).

П. П. КОНОВНИЦЫН. Несомненно, Пушкину были также известны основные факты деятельности в 1812 году генерала от инфантерии Петра Петровича Коновницына. Доблестный участник многих войн, начиная с 1788 года, Коновницын в начале Отечественной войны командовал 3-й пехотной дивизией, с которой стойко бился при Островне, Смоленске, Лубине, а последнюю неделю перед Бородинским сражением командовал арьергардом армии, сдерживая рвавшихся к Москве французов.

Хвала тебе, славян любовь,
  Наш Коновницын смелый!..
Ничто ему толпы врагов,
  Ничто мечи и стрелы;

Пред ним, за ним Перун гремит,
И пышет пламень боя...
Он весел, он на гибель зрит
С спокойствием героя;
Себя забыл... одним врагам
Готовит истребленье;
Пример и ратным и вождям,
И смелым удивленье.

Так писал о Коновницыне В. А. Жуковский. Под Бородином Коновницын принял от раненого Багратиона командование левым флангом русских войск и руководил ими до прибытия генерала Дохтурова, посланного Кутузовым на смену Багратиону [1]. В этот день Коновницын получил две тяжкие контузии, но остался в строю.

Назначенный Кутузовым на ответственный пост дежурного генерала всех русских армий, он проявил исключительную, неутомимую деятельность, уже на походе начав переформирование и укомплектование расстроенных боями полков, завершенное в лагере у Тарутина. Коновницын участвовал во многих последующих боях. В критический момент сражения под Малоярославцем Кутузов сказал ему: «Петр Петрович! Ты знаешь, как я тебя берегу и всегда упрашиваю не кидаться в огонь, но теперь прошу тебя — очисти город!» И Коновницын во главе 3-й пехотной дивизии выбил штыками французов из Малоярославца. Под Вязьмой и Красным он от имени Кутузова отдавал приказания войскам, разъезжая под жестоким огнем, как всегда в бою,— с длинной трубкой в зубах и нагайкой в руке.

В 1815 году Коновницын был назначен военным министром, через четыре года — главным директором всех кадетских корпусов и Царскосельского лицея. На

[1] Момент передачи Багратионом командования Коновницыну является центральным эпизодом картины П. Хесса, находящейся в Военной галерее.

этом посту он проявил редкую для своего времени гуманность, огромное внимание уделял вопросам образования и воспитания. Коновницын умер в 1822 году.

Пушкин, неизменно интересовавшийся всем, что касалось Царскосельского лицея, слышал, вероятно, об этом доблестном сподвижнике Михаила Илларионовича Кутузова.

М. И. ПЛАТОВ. Также знаком был поэту внешний облик и редкие боевые качества легендарного атамана донских казаков генерала от кавалерии Матвея Ивановича Платова. В стихотворении Жуковского «Певец во стане русских воинов», пользовавшемся чрезвычайной популярностью в лицейские годы Пушкина, одна из лучших строф посвящена Платову:

Хвала, наш вихорь-атаман;
　　Вождь невредимых, Платов!
Твой заколдованный аркан —
　　Гроза для супостатов.
Орлом шумишь по облакам,
　　По полю волком рыщешь,
Летаешь страхом в тыл врагам,
　　Бедой им в уши свищешь;
Они лишь к лесу — ожил лес,
　　Деревья сыплют стрелы;
Они лишь к мосту — мост исчез,
　　Лишь к селам — пышут селы...

Впервые имя Матвея Ивановича Платова стало известно в 1774 году, когда, командуя казачьим полком и конвоируя транспорт продовольствия, он в верховьях реки Калалах был неожиданно окружен и атакован скопищами крымских татар хана Девлет-Гирея. Несмотря на молодость — ему было всего двадцать три года, — уже закаленный в боях первой турецкой войны, Платов блестяще отбил натиск неприятельских всадников. Отряд, защищенный с тыла болотом, при-

крытый с фронта завалом из мешков с мукой, а с флангов телегами обоза, возглавляемый доблестным офицером, выдержал за день семь ожесточенных атак и нанес татарам большой урон. В память об этом бое была выбита особая золотая медаль, она изображается среди других наград на многих портретах Матвея Ивановича Платова.

В 1782 году Платов, благодаря своей инициативе и храбрости, стал лично известен Суворову. По представлениям Суворова он был произведен в майоры, затем в полковники. Последний чин он получил за молодецкое участие в бою на Кинбурнской косе. За штурм Очакова Платов был награжден орденом Георгия IV степени, а за сражение при Каушанах произведен в бригадиры. 9 декабря 1790 года Суворов собрал военный совет под Измаилом. Платов был самым младшим по чину из тринадцати участников этого совета. Приглашенный высказаться первым, он, не колеблясь, произнес слово «штурм», единодушно повторенное всеми присутствующими.

Для казаков, составлявших значительную часть суворовского корпуса, привыкших действовать в конном строю, очень важно было участвовать в маневрах, которые великий полководец проводил под стенами крепости, почитавшейся неприступной. Эти учения, не оцененные по достоинству многими современниками, должны были научить солдат и офицеров преодолевать препятствия, форсировать глубокий ров, взбираться на высокие отвесные стены крепости. Такая чисто суворовская подготовка штурма целиком оправдала себя. В достопамятную ночь 11 декабря 1790 года на Платова, возглавлявшего колонну из пяти тысяч спешенных донцов, была возложена тяжелая задача — овладеть одним из самых труднопреодолимых участков измаильских укреплений. Несмотря на плохое вооружение — укороченные пики, древки которых турки пере-

рубали саблями, казаки по грудь в воде перешли искусственный пруд и под жестоким орудийным и ружейным огнем схватились с врагом врукопашную. Овладев намеченной частью вала, казаки Платова сумели оказать поддержку соседней, не столь успешно действовавшей колонне бригадира Орлова. В продолжавшемся до 4 часов дня ожесточенном бою уже на улицах самого города, где приходилось штурмовать каждый дом, Платов со своими казаками вновь выказал исключительную отвагу. За действия при штурме Измаила он по представлению Суворова был произведен в генерал-майоры и награжден орденом Георгия III степени.

Быстрое продвижение по службе создало М. И. Платову множество завистников. По доносу одного из них донской генерал был исключен Павлом I из службы, сослан в Кострому и, наконец, заточен в Петропавловскую крепость, где просидел до тех пор, пока возводимые на него обвинения не были опровергнуты расследованием.

Назначенный в 1801 году наказным атаманом Войска Донского, Платов энергично занимался хозяйственными вопросами и боевой подготовкой казаков. Именно тогда он исходатайствовал разрешение перенести город Черкасск, ежегодно страдавший от разлива Дона, на более высокое место и назвать его Новочеркасском.

В 1806 году Платов был вызван в действующую армию. Здесь он прославился преследованием французов после битвы при Прейсиш-Эйлау, а позже руководил донскими отрядами, непрерывно тревожившими неприятеля на его зимних квартирах. В мае 1807 года полки Платова успешно действовали на реке Алле против корпуса Нея. Захватывая пленных, уничтожая переправы и производя неожиданные налеты, русские сильно затрудняли французам движение к Фридланду.

1808—1809 годы Платов провел на Дунае, отличившись со своими «станичниками» занятием Гирсова, участием в бою при Рассевате и при осаде Силистрии, где взял в плен пашу Махмуда, и особенно в разгроме турок у Татарицы. Вернувшись после войны на Дон, М. И. Платов активно включился в мирную деятельность, обнаружив незаурядное административное дарование.

Однако в июне 1812 года мы вновь застаем атамана на западной границе во главе семитысячного войска, расположенного около Гродно. Поражения, нанесенные казаками наполеоновской коннице 28 июня у Мира и 2 июля у Романова, задержали движение неприятельских сил. После боя при Салтановке густая завеса платовских отрядов прикрыла фланговое движение Багратиона, а после соединения русских армий у Смоленска донской атаман встал во главе общего арьергарда. Под Бородином конница Уварова и Платова совершила лихой рейд в тыл армии Наполеона, значительно задержав и ослабив наступление врага на центр русских позиций.

Подняв атаманским приказом всеобщее ополчение донцов, Платов во второй период кампании возглавил мощную силу в двадцать с лишним тысяч сабель. Превратившись в подлинный бич отступающих французов, казаки захватили более пятидесяти тысяч пленных, пятьсот орудий и много других трофеев. В 1813 году Платов со своими полками преследовал французов до Рейна, а в начале 1814 года во главе трехтысячного отряда совершил блестящий бросок на Фонтенбло и взял штурмом город Немур.

После заключения мира донской атаман сопутствовал Александру I при поездке в Англию. Здесь на долю Платова выпали исключительные почести: Лондон преподнес ему драгоценную саблю, Оксфордский университет — почетный диплом доктора наук; в честь

его были выбиты памятные медали, его имя присвоили спущенному на воду военному кораблю. Матвеями называли многих новорожденных мальчиков; дамы выпрашивали у Платова прядки волос, чтобы носить их «на счастье» в медальонах. Громкая слава возглавляемых им донских «летучих» полков доставила Платову исключительную популярность не только в Англии, но и во всей Европе. Бесчисленные его портреты — поясные, в рост, на коне, окруженного казаками на походе и другие — выполнялись английскими, немецкими, австрийскими художниками. Был выпущен и находил множество покупателей портрет одетой в сарафан и кокошник «мисс» Платовой — дочери Матвея Ивановича, которую он будто бы обещал в жены тому, кто захватит в плен Наполеона.

Последние годы жизни, окруженный заслуженным почетом, Платов провел в Новочеркасске, занятый делами родного ему Войска Донского. Много внимания уделял он помощи сиротам казаков, погибших на войне, основал первые в Донском крае гимназию и типографию, заботился о развитии конных заводов, об устройстве донской артиллерии.

Начав службу урядником (унтер-офицером), образованным весьма посредственно, Матвей Иванович Платов проявил самобытный военный талант. Как никто другой, он умел использовать свойственные донцам боевые особенности — их неутомимость и подвижность, способность тревожить врага днем и ночью, сыгравшие столь важную роль в кампанию 1812 года и особенно во время преследования отступавшего из России противника.

Портрет Платова, подписанный Доу, не более чем копия с неизвестного нам оригинала, исполненного, может быть, в Англии в 1814 году. На это указывает помещенный рядом со звездами высших русских орденов — Андрея, Георгия и Владимира — овальный порт-

рет английского принца-регента в усыпанной бриллиантами раме, подаренный Платову во время пребывания в Лондоне. Левее видим золотую медаль, выбитую в память боя на реке Калалах в 1774 году, с которой началась военная слава героя.

Умер Платов в основанном им городе Новочеркасске в 1818 году.

Здравицу за Платова Пушкин провозгласил в стихотворении «Пирующие студенты», написанном в 1814 году, отражая тем популярность «Вихря-атамана». Несомненно, его имя поэт слышал не раз в те дни, когда в походе под Арзрум бывал среди казаков, свято чтивших память Платова.

Я. П. КУЛЬНЕВ. Даже в богатой одаренными людьми среде русских полководцев начала XIX века личность генерал-майора Якова Петровича Кульнева, героя войн с французами (1807) и со шведами (1808), выделялась своей оригинальностью и цельностью. Прослужив 24 года до чина полковника, Кульнев был особенно близок с солдатами и младшими офицерами, деля с ними не только опасности, но и самый простой образ жизни и на походах и на мирных стоянках. Один из наиболее пылких последователей Суворова, Кульнев в своих приказах усвоил стиль великого полководца. В них читаем: «Обучать солдата надо не более трех часов в сутки, но должно знать, чему обучаешь», «Сытость, чистота и опрятность есть источник здоровья солдата», «Для пули нужен глаз, штыку требуется сила, а желудку — каша».

Неизменные качества Кульнева — беспощадность в бою и забота о побежденном противнике — воспел знаменитый шведский поэт Рунеберг в поэме «Рассказы прапорщика Столя». Преданность Кульнева интересам службы и делу защиты Родины проявились

в его отказе от брака с любимой девушкой, потребовавшей, чтобы генерал вышел в отставку. Бескорыстный до крайности, он раздавал все, что получал, своим родным, товарищам-офицерам и солдатам.

В начале кампании 1812 года, командуя авангардом корпуса Витгенштейна, Кульнев нанес ряд жестоких ударов войскам маршала Удино, захватив в несколько дней более тысячи пленных. Вслед за тем удачно сражался под Вилькомиром, Друей и Головщином. В последнем бою, увлекшись преследованием врага, с незначительным отрядом атаковал главные силы французов. Во время отступления своих частей, находясь в цепи стрелков, генерал был смертельно ранен — неприятельское ядро раздробило ему обе ноги. По широко распространенной версии, умирающий герой, сорвав с себя Георгиевский крест, передал его адъютанту со словами: «Возьмите! Пусть неприятель, когда найдет труп мой, примет его за труп простого солдата и не тщеславится убиением русского генерала».

Этому герою в стихотворении «Певец во стане русских воинов» Жуковский также посвящает вдохновенные строки:

Где Кульнев наш, рушитель сил,
Свирепый пламень брани?
Он пал — главу на щит склонил,
И стиснул меч во длани.
Где жизнь судьба ему дала,
Там брань его сразила;
Где колыбель его была,
Там днесь его могила.
И тих его последний час:
С молитвою священной
О милой матери, угас
Герой наш незабвенной.

Однако Наполеон узнал все же о гибели генерала

и писал в Париж, что «убит Кульнев, один из лучших русских кавалерийских генералов».

Геройская кончина Кульнева была в числе самых излюбленных патриотических сюжетов картин и гравюр 1812—1820 годов. Служивший под начальством Кульнева Д. В. Давыдов писал о его подвигах и, несомненно, рассказывал о нем Пушкину. Своеобразная наружность храброго генерала обратила на себя внимание поэта: в повести «Дубровский» романтический герой был «смуглый, черноволосый, в усах, в бороде,— сущий портрет Кульнева».

Мы привели лишь несколько имен из числа генералов, деятельность которых была хорошо известна Пушкину. Нам хотелось напомнить читателю, что поэт — современник Отечественной войны, бывая в Военной галерее, узнавал среди портретов мужественные лица тех, кто был ему дорог по прекрасным патриотическим воспоминаниям, тех, кто в 1812 году выказывал все величие русского духа, тех, о ком он с грустью писал во вступительной части стихотворения «Полководец»:

Из них уж многих нет...

А. А. АРАКЧЕЕВ. С 1815 года, с того времени, когда Александр I, став во главе «Священного союза», почти всецело занялся вопросами европейской политики, Россией управлял генерал от артиллерии граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Включительно до 1825 года он был постоянным докладчиком царю по всем вопросам внутренней жизни России, ему в свою очередь докладывали все министры, кроме П. М. Волконского, возглавлявшего Главный штаб, да и того, как мы знаем, Аракчеев в 1823 году убрал со своего пути. Единственный раз за всю историю существования императорской России временщику да-

но было право отдавать приказы, сила которых равна была царским «повелениям».

Бедный новгородский дворянин, буквально на медные гроши учившийся у деревенского дьячка, с большим трудом зачисленный в Кадетский корпус, затем усерднейший артиллерийский офицер, на свое счастье попавший в гатчинские войска цесаревича Павла, Аракчеев сделал блестящую и быструю карьеру. За пятилетнее царствование Павла I он шагнул от безвестного армейского подполковника до любимца царя, графа, богатого помещика, кавалера высших орденов, генерал-лейтенанта. Малообразованный и лишенный широкого кругозора государственного деятеля, но исключительно работоспособный, Аракчеев под маской смирения и преданности расчетливо выставлял напоказ царю свою бедность и отсутствие связей с родовитыми придворными кругами. «У меня только бог да вы!» — воскликнул он однажды, обращаясь к Павлу. Очень характерен девиз, вписанный собственноручно царем в герб Аракчеева «Без лести предан». Таким Аракчеев казался своему господину, но современники неизменно произносили: «Бес лести предан».

В царствование Александра I с 1803 года Аракчеев был инспектором артиллерии, а с 1808 по 1810 год военным министром. Чуждый обычным недостаткам своих предшественников — барской лени и незнанию деловой стороны службы, энергичный, упорный и требовательный к подчиненным, Аракчеев прославился другими пороками — жестокостью, мстительностью, угодничеством, мелочностью и лицемерием.

Последние качества сказались особенно ярко, когда в 1816 году Александр I возложил на своего любимца создание военных поселений.

На этом поприще особенно проявилось умение

Аракчеева любой ценой заслужить царское «благоволение». Он не покладая рук составлял лично и редактировал сотни приказов, инструкций, правил, следил за постройками и распоряжался экзекуциями непокорных. Особенно прославился он расправой 1817 года в Чугуеве, где недавние вольные казаки упорно не желали становиться поселенными уланами. Много было здесь пролито крови, сотни людей забиты шпицрутенами на месте.

Пройдя всю службу в эпоху непрерывных войн и достигнув чина генерала от артиллерии, Аракчеев никогда не бывал ни в одном сражении. Запах пороха он знал только по учебным стрельбам, во время которых щедро раздавал жестокие наказания солдатам, героям Бородина и Лейпцига. Невозможно представить себе более ненавистную современникам личность, чем Аракчеев. Его именем буквально пугали детей. Народные песни сохранили его мрачный образ.

В те годы, когда Пушкин учился в старших классах Лицея, Аракчеев был в зените своего могущества. Как и П. М. Волконский, он являлся постоянным докладчиком Александра I во время его пребывания в Царском Селе и не раз сопутствовал царю в прогулках по дворцовым паркам. Чрезвычайно непривлекательную, сутулую, длиннорукую фигуру всесильного графа, по свидетельству видевших его, «похожего на обезьяну в мундире», мог встретить здесь юный лицеист.

До нас дошли две эпиграммы, написанные поэтом в начале 1820-х годов. Первая из них некоторыми современниками относилась к другому лицу, но характерно, что в тогдашних списках чаще связывалась именно с Аракчеевым:

> Холоп венчанного солдата,
> Благодари свою судьбу:

Ты стоишь лавров Герострата
Иль смерти немца Коцебу [1].

Но вторая уже несомненно рисует Аракчеева:

Всей России притеснитель,
Губернаторов мучитель
И Совета он учитель,
А царю он — друг и брат.
Полон злобы, полон мести,
Без ума, без чувств, без чести,
Кто ж он? *Преданный без лести?*
<—> грошевой солдат.

После смерти Александра I, временщик Аракчеев навсегда утратил какое-либо значение, вышел в отставку и доживал в своем богатом имении Грузино, тираня крепостных и дворовых. Только смертью он напомнил о себе.

25 апреля 1834 года Пушкин записал в своем дневнике: «Умер Аракчеев, и смерть этого самодержца не произвела никакого впечатления».

В другой записи дневника того же года, рассказывая об обеде у Сперанского, поэт приводит свою фразу, сказанную хозяину дома о деятельности Аракчеева при Александре I: «Вы и Аракчеев стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении добра и зла». Отбросив долю светского преувеличения в отношении Сперанского, оставим определение Аракчеева, как «гения зла», которое, вместе с титулом «самодержца» в записи 16 апреля, рисует роль этого временщика именно такой, как воспринимали ее современники.

Портрет, написанный Доу, дает, очевидно, смягченный, но все же непривлекательный внешний облик:

[1] *Коцебу* — писатель, приверженец «Священного союза», тайный агент Александра I в Германии, убитый в 1819 году студентом Зандом.

низкий лоб, жесткие, коротко стриженные волосы, толстый нос, тяжелый взгляд небольших мутно-зеленых глаз. Выражение лица бывало обычно грубым, мрачным и холодным. Характерна подчеркнутая скромность общеармейского вицмундира и нарочитое отсутствие орденов, кроме высшего — звезды Андрея Первозванного — и нагрудного портрета Александра I — знака особой царской милости. Над этим портретом была видна серебряная медаль, дававшаяся за боевое участие в событиях 1812 года. Между тем по своей исключительно «мирной» деятельности — в 1812—1814 годах он только «состоял при императоре», Аракчеев, казалось бы, не имел права ни на эту медаль, ни на то, чтобы портрет его был помещен в галерее. Но и в галерею, как всюду, дорога «другу и брату» императора была широко открыта.

Портрет Аракчеева помечен 1824 годом, именно тем временем, когда вся Россия трепетала при его имени. Есть сведения, что для исполнения его Доу ездил в Грузино, находившееся недалеко от Петербурга, в Новгородской губернии, на реке Волхов.

ДВОРЦОВЫЕ ГРЕНАДЕРЫ. Помимо 332 изображений русских военачальников 1812 года, размещенных в галерее, современный нам посетитель может ознакомиться в ней и с написанными Доу в 1828 году четырьмя портретами чинов Роты дворцовых гренадер — особой воинской части, сформированной почти одновременно с созданием Военной галереи и тесно связанной с войной 1812 года. Портреты эти сравнительно небольшого размера, с изображениями в полный рост.

Бывая в галерее, Пушкин не мог видеть этих портретов — они тогда находились в Царскосельском Екатерининском дворце. Портреты лишь в советское время внесены в Военную галерею, как дорогие нам изо-

бражения солдат, участников Отечественной войны. Дошли до нас и имена изображенных, что случается довольно редко.

Но в Зимнем дворце великий поэт, несомненно, видел самих гренадеров, служба которых неотрывно связывалась с дворцовыми помещениями, и очень вероятно, что не раз он проходил мимо стоявших на постах тех именно людей, чьи портреты мы теперь видим.

Рота дворцовых гренадер была сформирована, как написано в указе Николая I от 2 октября 1827 года, «из нижних чинов гвардии, которые в Отечественную войну проявили особенное мужество и во все продолжение их верной службы отличали себя усердием». К 8 ноября комплектование роты было уже закончено. Она состояла из 4 офицеров, 16 унтер-офицеров, 2 барабанщиков, 2 флейтщиков и 98 гренадеров — всего 120 человек. Из этого общего числа 69 были кавалерами знака отличия военного ордена (солдатского Георгия) и 84 — кавалерами знака отличия святой Анны, дававшегося за двадцать лет «беспорочной и ревностной службы». Следовательно, 33 человека из состава роты имели и ту и другую награды, которыми в то время исчерпывалось все, чем мог быть отмечен самый храбрый и исправный солдат. Четыре офицера роты, также в прошлом солдаты,— все были кавалерами солдатского Георгия за Бородинское сражение. Таким образом, Рота дворцовых гренадер, составленная исключительно из заслуженных ветеранов, являлась своеобразным живым памятником Отечественной войны 1812 года.

Одним из обязательных требований для приема в роту был высокий рост, не менее 2 аршин $9^5/_8$ вершка (182 см). И когда через несколько лет при пополнении были приняты три особо заслуженных солдата 2 аршин 7 вершков ростом, Николай I отдал строжайший приказ более не брать в дворцовые гренадеры «недо-

мерков», ни в коем случае «не спускать» рост ниже 2 аршин 9 вершков (181 см).

С первого дня своего существования рота была обмундирована в созданную для нее особую, весьма нарядную форму — медвежьи шапки с золочеными налобниками и мундиры с алыми лацканами, шитые широким золотым галуном. Обмундирование можно видеть на портретах, представленных в галерее, и на картине Г. Г. Чернецова «Военная галерея Зимнего дворца», написанной в 1827 году. На этом полотне можно видеть также сюртуки, в которые были одеты гренадеры вне строя.

Первую четверть века своего существования рота размещалась в непосредственной близости к дворцу, на территории теперешнего здания Эрмитажа, в уже упомянутом нами Шепелевском доме, выходившем на Миллионную улицу.

На дворцовых гренадеров особым приказом — инструкцией 1827 года — возлагались обязанности по надзору «за порядком и опрятностью комнат и мебелей в Зимнем дворце и в зданиях к оному принадлежащих; и чтобы сверх того присматривали не только в комнатах, но и в коридорах за всеми неизвестными или подозрительными людьми, дабы не могло быть никакого воровства». Для этого ежедневно рота высылала наряд, занимавший 36 постов, на которых стояли без оружия, в сюртуках. В архиве роты сохранилось немало документов, рассказывающих о пререканиях, а порой и ссорах старых «служивых» с камер-лакеями и другой дворцовой прислугой, которой они делали замечания и наставления об уборке залов, натирке полов и т. д., согласно упомянутой выше инструкции.

Помимо постоянных «мирных» обязанностей у гренадеров существовали и другие. Рота считалась строевой частью, и притом старшей из всех воинских частей России. Сообразно с этим, хотя все чины ее были на-

всегда освобождены от строевых учений, которыми так допекали их во всю предыдущую службу, они постоянно несли почетные караульные обязанности. Во время всевозможных празднеств во дворце — приемов, торжественных богослужений, балов — выставлялись два унтер-офицерских караула в Тронном и Концертном залах и три парных поста, в том числе в Военной галерее. Кроме того, два раза в год — 25 декабря, в день ежегодного празднования изгнания французов из России, и 6 декабря, в николин день, — рота в полном составе выстраивалась в Военной галерее и после парада проходила по ней строем, мимо портретов своих бывших командиров. Участвовали дворцовые гренадеры и в церемониях открытия памятников и в больших парадах войск, причем сообразно своему старшинству шли неизменно во главе частей гвардейского корпуса. Так было, например, летом 1834 года при открытии Нарвских триумфальных ворот и осенью того же года — при открытии Александровской колонны.

Знамя, данное роте в 1830 году, с надписью: «В воспоминание подвигов российской гвардии» — стояло постоянно в Военной галерее. Почетным отличием являлось также право, данное барабанщикам только этой роты, при отдаче чести караулом бить «поход» даже в комнатах дворца.

Все состоявшие в роте ветераны получали оклады при отставке — пенсии, которые во много раз превосходили существовавшие тогда для нижних чинов. Рядовые гренадеры приравнивались по окладам и правам к подпрапорщикам, а унтер-офицеры — к прапорщикам гвардии.

Во время пожара Зимнего дворца 1837 года гренадеры участвовали в спасении художественных ценностей, в частности портретов Военной галереи. При этом трое из них погибли в огне, а многие получили серьезные ожоги.

О трех изображенных Доу лицах, не имевших офицерского чина, известно немного.

О гренадере Илье Ямнике мы знаем только, что до поступления в роту он служил в гвардейском Измайловском полку, участвовал во всех крупных сражениях войны 1812 года, за храбрость был награжден солдатским Георгием, а за беспорочную службу — знаком отличия святой Анны.

На портрете Ямник изображен на фоне белой стены одного из дворцовых залов. Лицо худое, глаза старого солдата строго смотрят из-под огромной медвежьей шапки. Усы густо нафабрены и лихо закручены. Кисти рук крепко сжимают ружье, тяжелый приклад упирается в мраморный пол. Перед нами один из ветеранов — дворцовых гренадеров, в полной караульной форме, такими они стояли на часах во дворце.

Об унтер-офицере Егоре Етгорде (латыше по национальности) известно, что он 22 года служил в гвардейском Семеновском полку, отличился в ряде боев Отечественной войны и имел те же награды, что Ямник; Етгорд прослужил в Роте дворцовых гренадер более 20 лет, был произведен в фельдфебели и прапорщики той же части.

О барабанщике Василии Акентьеве знаем еще меньше; в роту он был переведен из гвардейского Финляндского полка, участвовал в войне 1812 года и имел знак отличия святой Анны.

Зато о капитане Василии Михайловиче Лаврентьеве известно несколько больше. Он начал службу в 1805 году солдатом в Преображенском полку, в бою под Аустерлицем был тяжело ранен в грудь и поясницу картечью. Возвратился в полк через год, продолжал строевую службу. 1 января 1812 года Лаврентьев был произведен в унтер-офицеры. Он прошел невредимым кампании 1812—1814 годов, участвовал в бесчисленных боях, за Бородино награжден солдатским Георги-

ем. 21 февраля 1819 года произведен в прапорщики, год спустя — в подпоручики, в 1825 году стал поручиком. В 1827 году Лаврентьева перевели в Роту дворцовых гренадер. В то же время он был произведен в штабс-капитаны, в 1831 году — в капитаны, через 4 года — в полковники. В. М. Лаврентьев умер в 1843 году.

Изображен капитан Лаврентьев на фоне Военной галереи. Пропорционально сложенный, подтянутый и щеголеватый, он опирается на обнаженную саблю. Взятый по набору в Преображенский полк — первый и самый почетный в русской гвардии, В. М. Лаврентьев был, как и все солдаты этого полка, очень высок ростом. Это видно на картине Г. Г. Чернецова, изображающей Военную галерею: в левой ее части стоит Лаврентьев, разговаривающий с барабанщиком, который на целую голову ниже капитана. В. М. Лаврентьев был одним из тех рослых молодцев и красавцев, которых со всей необъятной России собирали в гвардейские части.

На той же картине видны еще несколько гренадеров и офицеров роты, также, несомненно, написанных художником с натуры. К сожалению, имен этих героев Отечественной войны мы не знаем.

Глядя на портреты дворцовых гренадеров, мы прежде всего должны помнить, что это — рядовые представители того доблестного русского войска, которое обороняло нашу Родину в 1812 году. Это — те самые люди, которые с полуторапудовым ранцем за плечами, с четырехфунтовым ружьем в руках, в неудобном, холодном кивере и в «подбитой ветром» шинели, часто почти босые и еще чаще голодные, непрерывно сражаясь и в жару, и в дождь, и в мороз, за два года прошли пешком много тысяч верст от Немана до Берлина, от Тарутина до Парижа. Это — как бы представители тех, чьи геройские тени незримо присутствуют в

Военной галерее, выстраиваясь в тесный строй за каждым генералом, водившим их в бой. Это — те, без чьей храбрости, упорства и мужества самый талантливый полководец не одержал бы своих прославленных побед.

Вероятно, то же думал Пушкин, глядя на замершие на постах мужественные фигуры гренадеров, на их обветренные и окуренные порохом, пересеченные морщинами лица. Поэт думал и о том, что, может статься, именно эти люди когда-то, весной 1812 года, благословляли его и других лицеистов, идя через Царское Село на запад, навстречу надвигавшимся на Россию наполеоновским полчищам.



Приложение

ПОЖАР ЗИМНЕГО ДВОРЦА 1837 года

Вечером 17 декабря 1837 года в Зимнем дворце начался грандиозный пожар, длившийся более тридцати часов. Он уничтожил все, что могло сгореть во втором и третьем этажах огромного здания.

Пожар Зимнего дворца, как отмечали современники, помимо значительных художественных и материальных ценностей уничтожил исторический памятник, неразрывно связанный с различными событиями русской жизни второй половины XVIII — первой трети XIX века.

С гибелью дворца как бы потускнели и те исторические воспоминания, которые были связаны с Зимним дворцом. Ведь в его залах, галереях и жилых комнатах не раз звучали голоса М. В. Ломоносова, А. Н. Радищева, Г. Р. Державина, Н. М. Карамзина, В. А. Жуковского, П. А. Румянцева, А. В. Суворова, М. И. Кутузова. Сюда приезжали запыленные курьеры с депешами о победах при Кагуле и Рымнике, о Бородинском сражении и об изгнании французов из России. Сюда же вечером 14 декабря 1825 года приводили на допрос арестованных декабристов. Здесь получал указания царя в последний раз уезжавший в Персию посол А. С. Грибоедов, сюда, на дворцовые

приемы, обязан был являться как камер-юнкер двора А. С. Пушкин.

Пожару посвящено немало описаний очевидцев.

Знакомясь с источниками, можно составить представление о событиях тех дней. Уже за два дня до катастрофы из отдушины отопления в Фельдмаршальском зале, близ выхода в Министерский коридор, был «слышен дымный запах», возникновение которого связывали с неисправностью дымохода. Этот запах ощущался особенно отчетливо днем 17 декабря, затем он исчез и появился вновь только в начале 8-го часа вечера. Струйки дыма, показавшиеся вскоре из отдушины в зале и в соседней комнате дежурного флигель-адъютанта, встревожили дежурную прислугу. Во дворце началась тревога. Наряд пожарной роты обследовал отдушину, чердак над нею и дымовую трубу на крыше, обильно залив все водой из брандспойтов. В то же время несколько пожарных спустились в подвал, где, казалось, и обнаружили причину появления дыма. Отдушина в Фельдмаршальском зале, как и печь во флигель-адъютантской комнате, по предположению пожарных офицеров сообщалась со стояком, в котором сходилось несколько дымоходов, в том числе главный — от очага аптечной дворцовой лаборатории. Дворцовая аптека помещалась в первом этаже, под Министерским коридором, а лаборатория еще ниже, в подвале, под флигель-адъютантской комнатой. Здесь-то в кладке трубы над аптечным очагом, где варились лекарства, было проделано отверстие, сквозь которое по окончании топки, естественно, вытягивало из помещения и все тепло. Поэтому постоянно ночевавшие в аптечной лаборатории «мужики-дровоносы» затыкали отверстие рогожей. Эту-то тлеющую, дымящуюся рогожу извлекли из отверстия и залили водой. Но прошло всего несколько минут, и дым повалил в Фельдмаршальский зал с новой силой, а когда пожарные приступили к

вскрытию паркета близ отдушины, то при первом же ударе ломом на них рухнула ближайшая к Министерскому коридору фальшивая зеркальная дверь, и за нею вдруг вспыхнуло и разлилось во всю высоту открывшегося пространства яркое пламя. Тотчас оно появилось и выше, на хорах, в соседнем Петровском тронном зале. Попытки залить пламя из пожарных труб ни к чему не привели. Одна за другой падали с хоров обгоревшие части балюстрады, уже горели деревянные позолоченные люстры, огонь пожирал деревянные крепления ниши Петровского зала, а главное — уже перешел на балки чердачных перекрытий.

Приехавший из театра Николай I приказал разбить окна на хорах Фельдмаршальского зала, так как помещение уже наполнилось дымом. С притоком свежего воздуха огонь еще яростнее рванулся в двух направлениях: из Петровского к Гербовому залу, к Военной галерее 1812 года и церкви и в другую сторону — к Невской анфиладе, угрожая расположенным за нею личным комнатам царской семьи. Сухие вощеные паркеты, окрашенная масляной краской или золоченная по левкасу резьба наличников и светильников, холсты живописных плафонов и, наконец, целый лес чердачных стропил не могли уже быть потушены силами двух рот дворцовых пожарных и нескольких городских пожарных частей, прибывших им на помощь.

Только теперь выяснилось, что на чердаках дворца нет ни одного брандмауэра. Чтобы преградить огню доступ к личным комнатам царской семьи, солдаты начали носить кирпичи со двора по церковной лестнице и возводить глухие стены в Концертном зале и на чердаке над ним. Но пламя бежало одновременно по стенам, полам, потолкам, по чердаку, охватывая все новые участки. Скоро работа солдат стала бессмысленной; стены поднимались слишком медленно, а огонь уже подступал к Концертному залу. Оставалось

только спасать то, что могли поднять люди. В различных частях обреченного на гибель здания в эту работу включились Рота дворцовых гренадер и дежурные батальоны гвардейских пехотных полков. Как рассказывает участник события Колокольцов, эти батальоны, вызванные по тревоге, более часа простояли перед дворцом на площади в полном бездействии, ожидая распоряжений растерявшегося начальства, и появились в здании только тогда, когда пламя вспыхнуло над дворцом ослепительно ярким заревом.

В то же время гвардейцам было приказано образовать сплошную цепь вокруг горящего здания, не пропуская к нему никого из непрерывно сгущавшейся толпы. Солдат расставили так, чтобы между ними и дворцом оставались Дворцовая площадь и Адмиралтейский проезд. Это пространство предназначалось теперь для размещения выносимого из дворца имущества. Скоро на затоптанном снегу выросли беспорядочные груды всевозможных предметов. Мебель, посуда, мраморные статуи, каменные и фарфоровые вазы, хрусталь, картины, ковры, драпировки, сундуки, белье и одежда, книги и альбомы, туалетные и письменные принадлежности, бронзовые часы, люстры и канделябры — роскошное и ценное имущество царского жилища причудливо перемешалось со скарбом лакеев, поваров, трубочистов, ламповщиков, дровоносов и других чердачных, подвальных, угловых жильцов дворца (по свидетельству современников, в 1837 году во дворце жило не менее трех тысяч человек).

Очевидцы рассказывают: в эту ночь зарево было так велико, что его видели крестьяне окрестных деревень и путники на дорогах за 50—70 верст от столицы.

К 6 часам утра пламя охватило уже весь дворец, и борьба с ним продолжалась только с той стороны, где находился Эрмитаж. Оба существовавшие в то время

перехода в музей были разобраны, дверные проемы наглухо заложены кирпичом, так же как и обращенные к дворцу окна конюшни и манежа. Все средства борьбы с пожаром были сосредоточены теперь на этом участке. Созданную таким образом глухую стену, за которой находились сокровища Эрмитажа, непрерывно поливали из брандспойтов. Другие пожарные трубы ослабляли огонь в помещениях дворца, обращенных в сторону музея. Обожженные, измученные пожарники руководили также добровольцами — «трубниками» из горожан и, главным образом, из гвардейских солдат. Солдаты были основной силой, качавшей ручные помпы, которые подавали воду из бочек, беспрерывно подвозимых от прорубей на Неве и Мойке. К рассвету хмурого декабрьского дня появилась надежда, что Эрмитаж удастся отстоять.

За раскаленными массивными стенами дворца то замирало и падало, то вновь вспыхивало пламя. На прилегающих площадях, охраняемых сменявшейся два раза в сутки цепью солдат, сновали люди, осматривая, сортируя, разнося на руках и развозя на лошадях по временным хранилищам спасенные от огня вещи.

Не затронутым в официальных сообщениях и весьма скудно освещенным в воспоминаниях современников является вопрос о причине пожара. Касаясь этой темы, авторы мемуаров чаще всего указывают на неисправность дымохода, пролегавшего между Фельдмаршальским и Петровским залами, и на горящую рогожу, которая зажгла сажу в трубе. Лишь вскользь отдельные авторы упоминают о некой деревянной перегородке, возведенной при строительстве Фельдмаршальского зала за несколько лет до катастрофы и загоревшейся оттого, что она находилась слишком близко к дымоходам.

Архивное дело под заголовком «О пожаре в Зимнем дворце, исследовании причин оного и размещении

разных лиц и должностей», начатое на другой же день после возникновения пожара, дает возможность до мельчайших подробностей проследить все стадии специального следствия, проводившегося весьма тщательно, но несколько своеобразно.

20 декабря были допрошены флигель-адъютанты, дежурившие 15—17 декабря. Их служебное помещение находилось в начале Министерского коридора, совсем рядом с местом, где вспыхнул пожар. Затем давали показания находившиеся во дворце в те же дни начальники конногвардейского караула, располагавшегося в Фельдмаршальском зале. После них комиссия допрашивала дворцового печника. Он засвидетельствовал, что в августе заново перекладывал очаг в дворцовой аптекарской лаборатории, а перед началом топки осмотрел как аптекарскую, так и духовую печь, топка которой располагалась под Петровским залом, а отдушины выходили в Фельдмаршальский, и нашел все в исправности. За печником допрашивали трех «рабочих при лаборатории», тех самых, что ночевали в ее помещении. Затем были допрошены дворцовый аптекарь, дежуривший 17 декабря, камер-фурьер и дворцовые гренадеры, стоявшие на постах поблизости от места возникновения пожара 15—17 декабря. Они не смогли сообщить ничего нового, так же как и последний в этот день, двадцать третий по счету, свидетель — командир Роты дворцовых гренадер полковник Качмарев.

На заседании следственной комиссии, происходившем 21 декабря, допрашивались четыре дворцовых трубочиста. Они свидетельствовали о том, что чистка труб производилась с образцовой тщательностью и строгой периодичностью. Дежурные пожарные и лакеи систематически обходили порученные их надзору участки дворца и до вечера 17 декабря ничего подозрительного не заметили. В показаниях камер-лакея со-

держится между прочим упоминание, что близ места возникновения пожара имелась деревянная лестница, ведшая из малого коридора за Военной галереей 1812 года на хоры Фельдмаршальского зала, то есть находившаяся непосредственно за нишей Петровского зала.

В тот же день члены комиссии архитекторы В. П. Стасов и А. Е. Штауберт собирались совместно с архитектором гофинтендантской конторы Л. И. Шарлеманем осмотреть место, где начался пожар, но не смогли сделать этого, потому что, как сказано в «деле», оказались не готовы «подмостки, по коим можно было пройти по всем местам обозрению подлежащим».

Совместное обследование произвели утром 22 декабря. Заседание комиссии началось докладом Штауберта и Стасова. Комиссия постановила на другой день произвести в полном составе осмотр на месте и зачла письменные показания дежурившего 17 декабря камерфурьера, который из-за тяжелого ушиба, полученного на пожаре, не мог явиться в присутствие. А уже 23 декабря комиссия весьма подробно осмотрела «все места, где первоначально показался дым».

Возвратившись в квартиру А. X. Бенкендорфа — председателя следственной комиссии,— допросили трех рядовых пожарной роты, топивших печь под Петровским залом 15—17 декабря, затем командира этой роты капитана Щепетова и, наконец, одного из камерлакеев, подтвердившего, что топкой этой печи ведали только пожарные, а не дворцовая прислуга.

На заседании 24 декабря были опрошены три дровоноса, доставлявшие 15—17 декабря дрова к духовой печи. Один из них упомянул о деревянных конструкциях-подпорках, поддерживавших недалеко от печи потолок коридора.

26 декабря комиссия, вызвав еще ряд свидетелей, продолжала выяснять все подробности ежедневного порядка топки все той же подпольной печи духового отопления, а также проверяла периодичность и тщательность очистки дымовых труб.

Всего за семь дней декабря перед комиссией прошло сорок свидетелей.

В записке, представленной 29 декабря Николаю I,— следующие выводы: «Многие полагали, и многое заставляет думать, что главнейшей причиной этого происшествия была загоревшаяся сажа в лабораторной трубе, из коей первоначально выкинуло искры и самый огонь; но по осмотру оказалось, что труба, идущая из лаборатории, толщиной в $1^1/_2$ кирпича, по наружности совершенно исправна, не имеет ни трещин, ни пробоин, кроме тех, кои несколько входят в нее, не касаясь, впрочем, канала трубы. Хотя за сим нельзя достоверно отнести причину пожара к сей трубе, но не менее того комиссия обязывается доложить, что, несмотря на хорошее состояние лабораторной трубы, в котором она ныне найдена, воспламенение от оной могло произойти от двух причин: или от огненных искр, кои могли вылететь из-за заслонки поверх хор, незаделанною оставленной, которая, впрочем, найдена комиссией запертою, без следов огня и дыма, или от того, что при разгорячении трубы в тех местах, где имеет соприкосновенность с деревянными устройствами, они, согреваясь при всегдашней топке, быть может, приняли свойства к возгоранию. Другое обстоятельство, внимание комиссии обратившее, есть устройство печи под полом позади комнаты Петра I, близ коей находились балки с деревянными подкосами, поддерживающими потолок подпольного коридора и боров духовой трубы. Но эти все указания причин пожара, не быв подкрепленными настоящими доводами, суть только одни предположения».

Однако не только комиссия занималась выяснением причин пожара. Одновременно в том же направлении действовали чиновники гофинтендантской конторы во главе с ее вице-президентом А. А. Щербининым. Рвение этих лиц становится понятным, если учесть, что на них ложилась ответственность за хозяйственные и административные неисправности, следствием которых явился пожар. И в тот же день, когда комиссия Бенкендорфа подписала свой доклад, на имя министра двора князя П. М. Волконского поступил пространный рапорт Щербинина.

Текст рапорта повествует об обстановке и причинах пожара. В нем говорится о воздушном мешке, заключенном между каменной и деревянной стенами Фельдмаршальского и Петровского залов, о деревянных перемычках, оставленных в окнах и дверях при переделке залов, о незаделанном поблизости отверстии в пятах деревянных падуг, соединявшихся с дымоходом, в который оказался вмонтированным один из железных кронштейнов хоров Фельдмаршальского зала, а также и о плохо заделанном душнике, «так что теплота из печи должна была, мало-помалу, нагревать пустоту, и вместе с тем дым, в оной накопившийся, ударил в залу через отверстие душников».

Гофинтендантская контора «не видит никаких других вероятных причин пожара, кроме следующих: пустота между каменною и деревянною стенами в Фельдмаршальском зале должна была нагреваться от проходивших внутри каменных дымовых труб, в том числе и от лабораторной, равно от проникавших в оные железных укреплений и от самой духовой печи, из которой через неплотно обделанный около каменной стены душник теплота проходила не только в зал, но мало-помалу и в сказанную пустоту. Таким образом, все деревянные части в устройстве зала должны были рас-

щеляться, получить большую степень сухости и приготовиться к воспламенению. При усиленном же огне в лаборатории и особенно от горевших в дымовой ее трубе 17-го числа рогож искры легко могли проникнуть в пустоту через отверстие в трубе, которое, находясь внутри пустоты на одной высоте и близ самых падуг, не было заделано кирпичом, конечно по небрежению производивших сию работу мастеровых, и прикрывалось только трубными дверцами, поныне оставшимися на месте. От проникновения таковых искр, хотя в одном только пункте, вся деревянная надстройка сия, особенно хоры Фельдмаршальского зала и потолочные падуги, должны были разгореться в самое короткое время. Пожар действовал там скрытно, без сомнения, уже и тогда, когда дым показался из-за печи флигель-адъютантской комнаты непосредственно от огня в лабораторной трубе, каковые видимые признаки прекращены в начале дворцовой пожарной командою. Засим быстрое распространение огня в соседний Петровский зал само собою объясняется как через существование непосредственной связи между деревянною в сем последнем надстройкой и хорами Фельдмаршальского зала, так равно и через непрочную заделку дверей и оставленные в одной из них деревянные брусья, которые должны были вскоре прогореть».

Огонь, охвативший деревянные устройства, зажег балки и стропила, «отчего в скорое время повергнуты были самые плафоны и распространились по всему чердаку потоки смолистого дыма, который столько же служил дальнейшим проводником огня, сколько препятствовал — к усугублению несчастья — всякому предохранительному против пожара действию».

К этому рапорту были приложены планы Фельдмаршальского и Петровского залов. Деловая ценность

рапорта Щербинина состояла прежде всего в том, что в его заключительной части весьма обоснованно разобраны явления, возбудившие первоначальную тревогу во дворце, и дано объяснение причин неожиданного возникновения пожара после того, как, казалось бы, начало его было ликвидировано. Из этой части рапорта явствует, что дым, показавшийся у печки флигель-адъютантской комнаты, шел из примыкавшего к этой печке лабораторного дымохода и действительно происходил от горевших в лабораторном очаге рогожи и сажи.

Пожарным легко удалось все залить, действуя через дымовую трубу с крыши, в то время как другие спустились в лабораторию в подвале, откуда вытащили из отверстия в дымоходе остатки тлевшей рогожи и потушили ее.

Вторая часть рапорта Щербинина гораздо важнее. В ней говорится, что дым, выходивший из душника в Фельдмаршальском зале, происходил от скрытого для глаз и недоступного воде, заливаемой пожарными в лабораторную трубу, тления деревянной фальшивой стены, начавшегося, вероятно, задолго до тревоги. Причиной этого медленного тления могли быть искры от той же, горевшей и в предыдущие дни, рогожи, залетавшие через незаделанную «трубную дверцу» в щели деревянной стены, которая, по словам документа, «получила большую степень сухости и приготовилась к воспламенению». Это воспламенение и произошло почти мгновенно, когда доступ воздуха был открыт в результате того, что обрушилась фальшивая дверь.

Кого же считала гофинтендантская контора виновником совершившегося? На кого, не называя имени, указывал своим заключением Шарлемань, а за ним и Щербинин?

Если в одном месте рапорта прямо говорится, что

отверстие в трубе, выходившей в пустоту между каменной и деревянной стенами Фельдмаршальского зала, не было заделано кирпичом, «конечно по небрежению производивших сию работу мастеровых», то в целом, дав описание причин пожара, документ констатирует, что «масса огня, охватившая деревянные в двух залах устройства, примыкавшие к потолку, должна была непосредственно зажечь балки и стропила». При всей внешней объективности описания здесь подчеркнута постоянная пожарная опасность, заключавшаяся в деревянных «устройствах», появившихся за четыре года до катастрофы, при работах по созданию Фельдмаршальского и Петровского залов. Однако имя автора этих сооружений ни в одном документе ни разу не названо. Его как бы не рискуют назвать. Но мы его знаем. Это любимый архитектор Николая I — Огюст Монферран.

Легко можно себе представить, как много было в дворянском и бюрократическом обществе обеих столиц толков о пожаре Зимнего дворца, о гибели этого «сердца империи», о потерях и убытках, о человеческих жертвах. Конечно, называли и виновников. Помимо трех лабораторных «мужиков» с их злополучной рогожей, о которых упоминают и мемуаристы, в разговорах современников фигурировало также имя Монферрана. Доказательством тому служит письмо самого Монферрана московскому приятелю графу С. П. Потемкину, являвшееся ответом на не дошедшее до нас письмо, в котором, очевидно, содержался пересказ ходивших по Москве толков о пожаре с упоминанием обвинений, направленных против Монферрана. Приводим выдержки из письма Монферрана, написанного 18 февраля 1838 года:

«Пожар в Зимнем дворце произошел ни от чего другого, как от огня в дымоходе, начавшегося в лаборатории аптеки, которой пользовалось 3500 лиц,

живших во дворце. Вот все, что мне пожелал сообщить министр дворца по поводу этой катастрофы.

При одном химическом опыте часть спирта вспыхнула и выбросила пламя в печную трубу с такой силой, что сочли нужным известить об этом князя В. (имеется в виду министр двора князь П. М. Волконский.— *Авт.*). Помощь оказана быстро, огонь считали потушенным, и больше этим не занимались.

В 8 часов, т. е. 4 часа спустя, запах дыма распространился по дворцу, главным образом в Фельдмаршальском зале и в зале Петра Великого.

Министр, который был в театре, прибыл, как только был извещен, что пламя появилось в верху Фельдмаршальского зала. Начали ломать стену, чтобы убедиться, откуда идет огонь, и в одно мгновение он показался повсюду, распространяясь по балюстрадам, по деревянному своду зала Петра Великого, наконец, по стропилам дворца. Сгустившийся под кровлей дым прекратил вход на чердак, который запылал, и, как по электрическому проводнику, пожар вспыхнул в разных точках. Наконец, дворец сделался добычей пламени...

Не знаю, что я могу иметь общего с пожаром дворца. 10 лет назад я декорировал помещение умершей императрицы-матери. Вот уже 7 лет, как я переделал помещения покоев их величества. 5 лет назад я закончил Фельдмаршальский зал и зал Петра Великого. С этого времени я не вбил ни одного гвоздя в Зимнем дворце. Г-ну Б., очевидно, неизвестно, что, когда я получил приказ создать Фельдмаршальский зал и зал Петра Великого, была назначена комиссия для управления этими работами, и если свод зала Петра Великого и потолок Фельдмаршальского зала были сделаны из дерева и заштукатурены, то они были сделаны такими точно, как и все другие потолки и своды бельэтажа дворца. Комиссия приказала закончить в пять

месяцев эти два зала, на что во всякой другой стране потребовалось бы пять лет для выполнения в камне того, что было из дерева, и чтобы закончить живопись и прекрасные наборные паркеты, что было исполнено в шесть недель.

Только для Вас, дорогой граф, а не для этого Б.,— знайте, что я делал несколько предложений, но что дешевизна и короткие сроки, которые были даны, заставили избрать эти легкие конструкции, оказав им предпочтение перед другими...»

В суждениях цитированного письма по интересующему нас вопросу есть и доля правды. При самом строгом суде Монферран не мог нести один всей ответственности за деревянные конструкции, воздвигнутые в Зимнем дворце с согласия царя. Николай I мнил себя знатоком строительного дела и архитектуры, входил во все подробности дворцового строительства; без согласования с ним ничего не могло быть сделано при перестройках, руководимых Монферраном.

Таким образом, первым виновником катастрофы оказывался сам Николай I, не сумевший, утверждая проекты Монферрана, учесть всей их пожарной опасности.

Очевидность этого положения для лиц, сведущих в строительном деле, определила и характер заключительной части доклада комиссии Бенкендорфа. Стасов и Штауберт видели при осмотре пожарища то же, что и Шарлемань. Но у них не было необходимости выгораживать гофинтендантское ведомство от надвигавшейся на него грозы и пытаться направить эту грозу на Монферрана с опасной возможностью одновременно задеть и самого царя. Они могли после осмотра, произведенного во дворце, растолковать суть дела Бенкендорфу, от которого зависело придать тот или иной характер дальнейшему расследованию и заключению комиссии. А этот опытнейший царедворец предпочел не

дублировать рапорт Щербинина, о характере которого он, несомненно, знал и в котором к тому же мог заранее видеть некую ахиллесову пяту, дающую возможность иного поворота дела. Бенкендорф почел за лучшее, проявив нужное рвение при следствии, в котором все велось по чисто формальной линии, не углубляться в вопрос по существу и представил Николаю весьма неопределенное заключение.

Не назвав во всем следственном производстве имя Монферрана, даже не намекнув на его участие в создании конструкций, ставших очагом пожара, Бенкендорф предоставил царю возможность ознакомиться с рапортом гофинтендантской конторы и самому решить, обрушиться ли на своего любимца или в отношении его «придать дело забвению».

Николай избрал второй путь: Монферран был слишком нужен ему в качестве главного строителя Исаакиевского собора. Несмотря на это, можно предположить, что отношение Николая к Монферрану изменилось: к восстановлению сгоревшего дворца он не был привлечен.

После рассмотрения царем обоих документов от Волконского к Щербинину один за другим поступают запросы о том, почему так редко (раз в месяц) чистили сажу в лабораторной трубе, почему командир пожарной роты не знал о рогоже, заткнутой в пролом трубы; требуют сведения о различных лицах, «прикосновенных к делу». Щербинин отвечал начальству почтительно, но неизменно защищая своих подчиненных.

Между другими, по существу незначительными, запросами Волконского был один, имевший весьма существенное значение для судьбы самого Щербинина. Это запрос о том, почему в гофинтендантской конторе не было «хороших и полных планов» той части дворца, где возник пожар. Запрос бил по действительно уязви-

мому месту рапорта Щербинина, в котором говорилось, что установленные архитектором Шарлеманем после пожара подробности «деревянных устройств» Фельдмаршальского и Петровского залов не были до того известны гофинтендантской конторе. Скрытые от нас рассуждения Николая I и Волконского клонились к тому, что если бы руководители конторы имели такие планы — а они обязаны были их иметь в связи со скрытой в этих «устройствах» опасностью, — то и меры, принятые при тушении пожара, должны были быть совершенно иными, идущими по правильному пути.

С критикой действий руководства гофинтендантской конторы было связано и рассмотрение существовавшей во дворце пожарной службы, оказавшейся столь малоэффективной при столкновении с огнем. Во всех сообщениях о пожаре упоминается, что на первом этапе огонь заливали из пожарных труб, действуя ими в Фельдмаршальском зале, на чердаке и на крыше. Откуда же бралась вода? Ответ на это дает рапорт Щербинина от 30 декабря: «Механик Пинкертон, быв извещен о происшедшем 17 декабря пожаре, поспешил к паровой водопроводной машине. Затопив в подвальном этаже паровую печь, он успел поднять воду в резервуар, который, находясь, как известно, на чердаке над канцелярией вашей светлости, начал уже истощаться по мере того, как в среднем этаже, через имеющиеся краны, вытекала вода для погашения огня в Фельдмаршальском зале. Деревянный резервуар, вмещавший до 4000 ведер, наполнился. Охваченный после того огнем, он должен был прогореть и наводнить находившуюся под ним часть строения, чему доказательством служил лед, образовавшийся по прекращении огня во многих окнах квартиры вашей светлости и который был виден еще несколько дней спустя; уменьшение огня на сем пункте не могло не содейст-

вовать отчасти перерыву пожара в направлении к Эрмитажу».

Не удалось найти архивных данных, которые помогли бы выяснить, когда установлен этот бак, а также и то, имелись ли в других пунктах здания еще резервуары. Но в данном случае важно, что запаса в четыре тысячи ведер с излишком хватило бы на ликвидацию начавшегося пожара, если бы лица, руководившие действиями пожарных, сразу, проникнув за фальшивую стену Фельдмаршальского зала, обнаружили источник пожара и обратили все силы на борьбу с огнем, не дав ему проникнуть на хоры в Петровский зал.

Руководители гофинтендантской конторы были не правы, полагая, что в случившемся целиком повинен создатель фальшивой стены и прочих смежных с нею деревянных конструкций. Монферран, а вместе с ним и Николай I были действительно виновны в создании условий, при которых пожар мог легко возникнуть. Но на руководителей гофинтендантской конторы и командира пожарной роты, ведавших противопожарной охраной данной части дворца, ложилась ответственность за то, что они не сумели учесть опасности этих «устройств». Перед нами образец и безалаберности, и растерянности, тем более непростительной, что таившие в себе опасность конструкции возводились на глазах у всех обитателей дворца всего за четыре года до катастрофы. Забыть о них, казалось, было невозможно.

Должно быть, именно так рассудили Николай I и глава придворного ведомства князь Волконский. В начале 1838 года вице-президент гофинтендантской конторы Щербинин и командир пожарной роты капитан Щепетов были уволены в отставку.

Пожар вызвал множество мероприятий предохранительного характера, проводившихся в течение 1838

и 1839 годов по всем «зданиям, прикосновенным к Зимнему дворцу», то есть по Эрмитажу, Шепелевскому дому и театру. Прокладывали свинцовые водопроводные трубы, возводили брандмауэры, новые каменные и чугунные лестницы, отодвигали от перегородок и перекладывали заново печи, выводили новые дымоходы, ставили кованые железные двери и оконные ставни. Везде дерево заменяли чугуном, железом, кирпичом.

ОГЛАВЛЕНИЕ

7

История создания Военной галереи

82

О тех, кого Пушкин знал лично

192

О тех, кого Пушкин не знал

220

Приложение
Пожар Зимнего дворца 1837 года

Владислав Михайлович
ГЛИНКА

ПУШКИН И ВОЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Заведующая редакцией *А. М. Березина*
Редактор *Э. А. Ремизова*
Художник *Г. Г. Ябкевич*
Художественный редактор *В. А. Баканов*
Технические редакторы *В. И. Демьяненко, И. В. Буздалева*
Корректор *Н. Р. Качалова*

ИБ № 4496

Сдано в набор 03.08.87. Подписано к печати 16.12.87. М-38452. Формат 70 X 108[1]/32. Бумага тип. № 1. Гарн. школьная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,5 + вкл. 0,70. Усл. кр.-отт. 13,65. Уч.-изд. л. 10,20 + 0,60=10,80. Тираж 100 000 экз. Заказ № 234. Цена 90 коп.

Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59.
Типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

Глинка В. М.

Г54 Пушкин и Военная галерея Зимнего дворца.— Л.: Лениздат, 1988.— 238 с., ил.

Книга ленинградского писателя и историка рассказывает об истории создания Военной галереи Зимнего дворца, о роли, которую сыграли в политической, общественной и культурной жизни России XIX века представленные в ней люди, о влиянии многих из них на А. С. Пушкина.

Г $\frac{1905040000-009}{М171(03)-88}$ 115—88

ББК 63.3(0)52